



АНДРЕЙ ТАВРОВ

КЛУБ  
ЭЛВИСА  
ПРЕСЛИ

# Андрей Тавров

## Клуб Элвиса Пресли

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=24607265](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=24607265)*

*Клуб Элвиса Пресли / А. Тавров.: Алетейя; Санкт-Петербург; 2017*

*ISBN 978-5-906910-43-1*

### Аннотация

Роман, действие которого разворачивается в наше время, продолжает тематическую линию, представленную именами Борхеса, Сэлинджера и Леонида Андреева. Станные и, на первый взгляд, нелепые персонажи отправляются с тропического побережья Сочи, этой «русской Флориды», в Кавказские горы на поиски пропавшей девушки, для того чтобы заново обрести смысл жизни, чтобы заодно спасти весь мир от надвигающейся бессмыслицы существования. Спасительный выход из нравственного тупика им должна подсказать встреча с местным богом убыхов, загадочного кавказского племени, исчезнувшего с лица земли. И члены местного «клуба Элвиса Пресли», чудаки и «чуваки», решившие лично спасти мир, бросив для этого дома, работу и семьи, действительно, встречаются личного бога и получают желанный ответ, но ответ – весьма неожиданный.

Трагикомическое повествование изобилует фантастическими образами и ситуациями, соседствующими с вполне житейскими

положениями, и насыщено той радостной мудростью, которая дается «дураку» и скрыта от мудреца.

# Содержание

1	5
2	9
3	15
4	20
5	25
6	30
7	35
8	39
9	44
10	48
11	52
12	59
13	63
14	69
15	76
16	82
17	88
18	95
Конец ознакомительного фрагмента.	99

# Андрей Тавров

## Клуб Элвиса Пресли

*Викки, зеленому зимородку*

### 1

Совсем не обязательно, когда море синее, когда зеленое тоже. А еще раннее утро, и туман над морем, а оно, как зеркало, плоское, млечное, а Витя-саксофонист идет с удочкой на пляж, где пока еще не продают кофе, а пахнет водорослями, а сквозь ячейки железной сетки, опоясывающей теннисную площадку на спуске к морю, летит сюда стук одинокого теннисного мяча.

На пляже пусто, галька еще холодная, слышно, как плеснет волночка и умрет, а с буны видно дно с черными мочалками водорослей и асбестом песка, на камнях сидят маленькие крабы. Витю потряхивает. Он боится, что снова увидит Гама. Гам – это страшный человек, весь в белых бородавках и жирных волосах, который хочет Витю убить и появляется всегда неожиданно, то на остановке автобуса, то в туалете, а иногда на пляже. Выходит он, обычно, как будто из стекла и опять туда входит, а Витя от этого сидит на асфальте, его тошнит и ведет нехорошо к земле, но потом он всегда встает,

потому что музыка. Жена его выгнала и теперь он живет у дочери, которая его не выгоняет. Витя поднимается со ступеньки и отряхивает джинсы.

Из чего это делают море по таким утрам, разве что только из молочного с зеленым стекла, а воздух, точно, делают на Луне или еще где, но, наверное, такой воздух делают еще и здесь, на пляжах у железной дороги, где он с особенным лунным отливом, и Витя идет к буне, но на нее не выходит, потому что спускается вниз, садится на гальку, прислоняется спиной к бетонным блокам с той стороны, где тень, и закрывает глаза. Удочку он поставил рядом, и она высится над ним, как древко без флага, а если бы был флаг, то был бы белым, как сигнал о сдаче.

Лучше всего быть молниеносной летучей мыслью, которая, как кусок отломанного антрацита, носится куда хочет по зеленеющему небу, а в это время зажигаются окна, и он подумал, что не мыслью, а мышью и еще что это одно и то же, потому что если не мысль о Вите, то Вити не будет тоже. Мысль о мыши делает ее антрацитной, парящей и свободной там, куда Витя может дотянуться только пока играет в ресторане или на концерте, свингуя и потопывая ногой в кроссовке, а инструмент звенит и свисает на нем, тяготя и хорошея, как выбившаяся из-за ремня незаправленная рубаша, и вознося туда, куда ногами не дойти.

Он чувствует холод воды, и, кажется, хорошо бы разуться и забрести в нее по колено, наверное, сразу же станет легче.

Сквозь прикрытые веки вспыхивают колкие зайчики неправильной формы, пляшущие на волнах, которые теперь живут внутри Витиных глаз, а он думает, что на олимпийской стройке на Поляне исчезло 20 таджиков, а потом выяснилось, что их утопили в жидком растворе, и теперь, чтобы их достать, надо бетон взрывать, и все равно навряд ли он поддается – кто же будет взрывать зацементированный котлован, а раньше на Поляне было хорошо, речка звенела, как хрусталь, и ястребы кружились в глубине небес, как справедливость и предел прозрачности.

А вот туман над морем и стал еще гуще, взамен того чтобы уйти, а наверху из кафе раздался звук движения, и Витя, оставив снасти, встал и пошел по лестнице наверх, туда, где звякнуло.

Огромный черный грохот рвет тишину в куски – это грохочет поезд на Сухуми, раскачивая ходом и ветром зеленые верхушки кипарисов, в одной из которых Витя когда-то убил воробья, а потом ночью плакал, а за стеной сарайчика какой-то курортник скрипел раскладушкой, а девчонка постанывала, а теперь кипарис качает верхушкой без воробья, или, может, с каким другим воробьем, и Вите от этого свободно и пусто.

Он подходит к буфету, заказывает сто пятьдесят водки и несет пляшущий белый стаканчик за столик под тентом, а на пляже стоит туман, то гуще, то прозрачней, как будто плывешь куда-то, а не сидишь за столиком, солнце больше со-

всем не проглядывает, да оно и лучше без солнца, он запрокидывает голову и, дернув кадыком по смуглой морщинистой шее, вливает в себя водку и застывает.

Он хотел бы видеть еще кого-то. Да, хоть одного человека, потому что там, в буфете, не человек, а так, сгущение. Никого нет, и он сидит, ожидая, что будет, а потом понимает, что ничего особенного не будет, и тогда встает и снова идет к буне.

А на буне сквозь туман высится над водой, словно шаря собою в воздухе, гигант в линялой розовой майке и с подводным ружьем – спуск звенит, гарпун уходит в воду, а через миг вспыхивает жидким серебром огромная кефаль, быющая, как пружина, вынутая из моря, и великан, плавающий в туманном молоке то головой, то линялым сиреневым торсом, вытягивает ее на буну, нанизывает на кукан и с треском заряжает свой самострел. Идет дальше по буне, мористее, в глубину, всматриваясь в воду, ведет концом ружья и снова стреляет в рыбу, вынимая ее из моря, влаги, тумана, черного грохота, воробья и Витиного сердца – серебряной огромной гирей. Витя лезет в карман за сигаретами, в голове постепенно оживает то ли Дюк Э., то ли Джон К. – сладкая верная тема на клавишах и басы, – закуривает и идет здраваться. Голова у него кучерявая, немытая, походка приблизительная. На волнах качается чайка, и что она есть, что ее нет – одно и то же.



Имена – продолжение вещей, говорит Аристотель, поэтому музыка вещи не продолжает, а словно бы образует. В горах время стоит над кладбищем в сини и лазурите весеннего неба, оно струится над гигантской чашей меж горных склонов, внутри которой амфитеатр могил, вырытых и засыпанных в разные годы.

Если читать все, что там написано, то станешь земляным человеком, а не стеклянным ангелом, как хотел. Может, и сомнительно, чтобы музыка образовала и кладбище, но музыкантов, которые здесь лежат и живут, образовала именно она.

Она образовала почти что все, но это мало кто замечает, потому что для того, чтобы не слышать вовсе, не надо умирать и чтобы забивались уши землей, и наоборот – если слух открылся для прекрасных мелодий – в джазе ли завернутых или поющих в старинных фугах – то и могила тебя не удержит, потому что она тебе не хозяйка.

К кладбищу от остановки ведет асфальтовая дорога, взятая в ряд кипарисов, в жару и в ослепление солнца. В самом начале на почетном месте – гигантский мавзолей с изображением усопшего во весь рост в мраморе рядом с мраморным же BMW. Здесь, видимо, упокоились те, кто разбогател на выстрелах и быстро умер, а деньги у родственников

остались. А в небе, лазурите и синеве, блестит, как иголка на солнце, самолет, и, кажется, он всегда там стоит и блестит, но это разные самолеты – один летит в Адлер, а другой, например, в Сингапур.

Чтобы въехать в дом к Николаю-музыканту, надо обогнуть кладбище поверху, откуда справа внизу виден город, а слева новая дорога, пробитая в горах, шоссе в объезд города – над ним сизая пелена выхлопов, от которой все время хочется убежать на побережье, а видом это шоссе – пустыня смерти с железными жуками внизу.

От дороги, в песке и асфальтовых выбоинах, надо свернуть налево и тут поставить машину почти что вертикально – носом вверх, чтобы, тужась и подергиваясь, она въехала в узкий крутой переулочек, и снова нырнула вниз. А там Николай вылезает из машины и отворяет железные ворота, локти почти прижаты к бокам, так здесь узко, и лает собака. Он заезжает внутрь, в крошечный дворик и глушит мотор.

Зато дальше как будто настоящая вилла на озере Рица – гудит кондиционер, прохлада, три этажа и студия звукозаписи.

Да, студия. Да! О, зачем, зачем мы не наслаждаемся теперь же тайной жизнью студии, в которой разбросаны поблескивающие части саксофонов, мерцают и бегают туда-сюда огоньки усилителей, на полу валяются в перекрученных проводах штанги микрофонов, а на столике пепельница, коньяк и в вазочке лед. Зачем мы принимаем это как должное,

вместо того чтобы взять и остаться тут, хотя бы ненадолго, взять и пережить всю эту музыку, запах табака, блуждающие мелодии и сквозняк из двери не как всегда, а только так, как и следует, — всегда заново.

Да, всю эту пыль, да. Воздух, музыку, лихорадочный и знобящий объем свободы, не привязанной ни к чему, как вид из окна вагона! Скажи мне, богиня жизни с узким деревянным ножом в пятке и латунной дудочкой в сердце, скажи! И я поверю.

Тут же огрызок яблока, а в динамике тихо толчется Колтрейн. Николай достает из холодильника бутылку вина и ставит на стол.

Если особенно не вглядываться, то чудовищные наросты на его ногах и руках не видны, а если вглядываться, то это словно в нем пробиваются, перепутав, изнутри лосиные рога, но выходят к свободе сдавленно и не как у лося, а через локти, запястья и колени.

Николай — человек белый лось, но он устал переживать и сидеть на диетах. Роза его любит и такого, а когда он играет на фортепьяно, то нет больше человека-лося, а есть белый одинокий лось, что сам по себе плывет в небе вместе с облаками через край горизонта, и многие плачут под его музыку, и сейчас они готовят с Витей новую программу.

Витя должен вот-вот зайти, а Николай поднимается на террасу, широкую и раздольную, и подходит к ограждению. Далеко видны сизые горы с белыми шапками, лазурит вверх

ху раскаляется, над дорогой-пустыней с бегущими, сверкая стеклами, жуками висит сизая пелена, а под террасой, в овраге крутятся четыре огромных вентилятора на крыше тепловой станции. Лопасти выкрашены в оранжевый цвет, и лучше на них долго не смотреть, потому что закружится голова.

Раньше на этом месте стоял домик, а в нем жил человек, который ел стекло. Николай сам видел несколько раз, когда был маленьким. Он тогда думал, что человек будет сам стеклянным, а может, тот и стал, Николай не знает, но потом дом исчез, вырыли котлован, залили бетоном и построили тепловую станцию.

Звенит звонок, это пришел Витя. Николай наливает ему холодного вина, потому что другу надо помочь, а иначе и говорить не о чем, и хотя Витя и сам знает, что помрет от выпивки, но что ж тут поделаешь. Помочь все равно ведь надо. Пока же он живет, и слава богу.

– Инструмент где? – говорит Витя невнятно. – Нинка опять не пускала, – добавляет он, проглатывая холодное ркацители.

Он лезет в карман, но передумывает и берет сигареты со столика.

– А помнишь Гориллу? Вот же пацан две октавы брал, ежели б не спился, наверное, в Америку бы уехал. Я сейчас его сеструху видал, шла к нему на могилу.

– Ничего он не спился.

– Нажрался и прыгнул с солярия головой на камень. Как

это не спился?

– Ладно, – говорит Николай, – на, держи!

Он протягивает Вите жар-птицу, золотой саксофон, инструмент из штата Нью-Йорк, и у Вити открывается рот, глаза жмурятся и сияют, а по лбу бегают золотые отсветы.

– Вот же, черт! – говорит Витя – Вот же, черт, а!

Потом они играют в плотном воздухе, постепенно входя в раж и воодушевляя пространство и время, и еще друг друга, словно все опять начинается заново, а ласточки визжат и цокают за окном, а ноги отбивают ритм и от этого становятся сильнее и моложе, а изумрудный фантомас музыки шастает по всему дому.

Вечером, когда воздух придвигается и темнеет, они спускаются к черной «Волге», кладут сумки на заднее сиденье, и Николай долго прогревает мотор. Потом, пятясь, начинает выбираться из ворот, целясь багажником в вечеряющее небо, в салоне жарница. Перевалив гребень и грохнув чем-то на заднем сиденье, они едут по кромке кладбища, похожего на амфитеатр с мертвыми и живыми, город внизу зажигает первые огни, видно, как пирс выбежал в темное море тонкой сизой полоской с красной точкой маяка на конце, а впереди тащится, мотая прицепом, КрАЗ, поднимая пыль – ни обойти его, ни объехать. Витя уже не всегда понимает, кто мертвый, а кто живой, но Николай понимает и объясняет Вите, но он не особо любит говорить на эту тему, потому что он еще не придурел и не спился.

– Слышь, – говорит Витя, – а я Серегу на пляже повстречал. Сначала не узнал. Идет и лупит кефаль прямо с буны. Штук семь набил.

Он знал, что кефаль птица херувимов и сказал это тогда Сереге, а Николаю не стал.

### 3

Птицы херувимов бывают разные, и среди них есть иногда и люди. Человек птица херувим излучает черный свет, который кажется незаметным или едва заметным, как будто от него чем-то пахнет или он какой-то странно притягательный. В общем, видно, что он всегда готов умереть и что для него это не имеет большого значения.

Скорее всего, он похож на плоскую и черную камбалу, человек херувим, и если на него смотреть с одной точки, то он будет огромен во весь почти пляж, как сейчас распластался на его гальке Савва Цырюльников, потому что он любит ту женщину, которая бьется под ним, словно самка дельфина, полная детенышей, белого живота и сияния и еще стопа на Ы, и всего птичьего, дельфиньего. Но она все время куда-то ускользает от Саввы, и не наводится на ту ослепительную точку, от которой мир исчезает, как исчезает он в фокусе линзы, потому что в этот момент вспыхивает, и так же точно хочет вспыхнуть Савва, чтобы открылась ему вся вселенная от края и до края. Со всеми, он хочет, чтобы открылась она ему смыслами, лошадьми на улицах, рыбами в океанских глубинах, где затонули атомные субмарины, и звездами из тех, которые увидишь разве что в темную августовскую ночь, когда все лишнее, словно фосфорные яблоки, падают они с неба, размазываясь по нему и светясь, а осталь-

ные остаются в глубине, чтобы ярче выговорить эту глубину, и ту глубину, которая за этой, и еще следующую, совсем уже ни на что не похожую, ну, разве что цветом отдаленно напоминающую оранжевый апельсин.

И в такой миг Савва становится сам всеми звездами и сияниями, и наконец-то вспоминает, кто он есть, потому что в остальные дни и периоды времени он этого не помнит из-за сильной травмы, полученной на ринге, от которой он шесть лет назад чуть было не помер, но в последний момент удержался и стал жить, но уже без памяти о себе.

И когда он видел красивую женщину, то всегда думал, что, может быть, именно она его память, и не отступался до тех пор, пока она не соглашалась пойти с ним на пляж или в гости к другу, и тогда он становился человеком херувимом и пластался, как камбала, накрывая ее со всех точек сразу своим телом ладонью, словно пляшущую по зеркальному столу монетку, чтоб не выпрыгнула.

Тогда он становился с ней разными вещами – например, с этой Медеей, с которой он сейчас гнался за ускользающей точкой познания, сначала они были: он – парнем в выцветших джинсах, а – она девушкой в шортах с рваными краями и выбившимися нитками, а потом они стали как две бабочки, которые в Китае обозначают супружескую пару в ранний период жизни, легкие, пестрые, без веса и забот. А потом она стала длинными ногами без шортов на песке и гальке, а он словно астронавт в невесомости, поднялся над ними и



стал медленно кувыркаться, замороженный их белой длиной и могущественной силой, вокруг которой рожали львицы и кружились звезды, а у него делалось тепло в животе, а глаза начинали застилаться туманом, который скрывал весь пляж и все деревья у железной дороги для того, чтобы видны были только эти смуглые ноги с белой чайкой на бедрах, там, где они не загорали.

А потом, когда он снова стал камбалой, она превратилась в большие и маленькие прозрачные яблоки, больше похожие на медуз, которых зеленая волна несет куда-то в море, а они, тихо шевелясь, что-то хотят сказать, но не могут. И испугавшись, что она вся разойдется по пляжу, Савва сказал ей: Медея. И она ответила ему: Да.

– Ты та самая, замри, – сказал ей Савва. – Мы зачнем с тобой не детей или там лохматых зверят, а новый мир, в котором ты будешь не только длинноногой, но и вещей Кассандрой бабочкой, и на работу тебе ходить не придется, и подкладываться под начальство тоже будет больше не надо. – Ы, – отвечает Медея Савве и смеется, проталкивая серебряный смех сквозь Ы и жемчужные зубы.

– Сейчас, – говорит Савва, – ты только не уплывай в медузах, а соберись обратно, и мы с тобой начнем быть людьми и богами.

И теперь он гонится за своей точкой, расположенной в животе и затылке у женщин одновременно, чтобы настигнуть ее и сгореть в ней всем беспамятством и косностью жизни. Он

ссаживает себе колени, елозит по гальке локтями, загнутыми пальцами ног и губами, в зубах у него обкатанная волнами добела сухая щепка, которую выбросило на берег море, а он ртом подобрал, не заметил, и сейчас грызет, как пес или там лев, сладкую кость врага, и сухая слюна течет на белую грудь. Замри, говорит Савва, а она не слышит, словно яблоко кусает в задумчивости, и вот ей стало уже и пять лет, сидит она в платице на ветке алычи, ничего не видит, коленка сбита, плечики худые, а потом и сорок лет – сильная, с большой, никогда не расшнуровывающейся грудью, в длинном сером пиджаке, а вот и богиня Геката она, про которую ему говорил Профессор, со страшным взором и собачей вонючей пастью, с текущим из нее розовым маслом, а вот и стали они тем, кем он хотел – стеклянным водным велосипедом.

Не только режет море этот велосипед, когда на нем сидят, вращая педали и лопасти, с которых летит вода, мужчина с девушкой, но и способен превратить их в себя. И это тот миг любви, о котором повествует тантра, и наши девушки и мужчины никогда до него не добираются из-за слишком большой своей материальной плотности, лени и пьянки. А Савва добирается, и теперь он и она – уже не Савва и Медея, а одно – безымянный, похожий на бронтозавра стеклянный велосипед с плоскими лопастями, заваленный немного набок под бледнеющими звездами далекой вселенной.

И уже умолкло все, и даже волн не слышно, а только тихо крутятся стеклянные лопасти, и с них скатываются, блестя,

как ртуть, капли, и проступает сквозь стекло ржавчина двух гулких понтонов, похожих на огромные гробы с плещущей внутри ржавой водой, и непонятно, зачем кто-то их втащил с моря на пляж и завалил набок.

Но, с другой стороны, если сейчас вглядываться в пляж, то не увидишь на нем ни народа, ни топчанов, ни цементных стенок с надписями, что мы были здесь из Воронежа, потому что все сейчас странно стало – непривычно стало все в этот один на всех остановившийся миг, и только слышно, как где-то в овраге скребется и рождается новая улитка, закручиваясь в раковинку, и вдалеке в небе плывет звезда.

А потом звонит телефон, и Савва лезет за ним, шаря слепыми руками по всем карманам сброшенных на гальку джинсов, находит и говорит, приставив его к щеке кверху ногами, еду профессор. Поймаю какую-нибудь тачку, через час буду обязательно. А потом сразу встает на ноги, помогает одеться Медее, берет ее за локоть, и они идут на шоссе, словно обменявшись ногами – он на высоких длинных, а она, прихрамывая, словно бы на кривоватых, боксерских.

Потом, когда он уже поговорил с Николаем-музыкантом и сказал, что Клуб соберется на заседание сегодня вечером и чтоб они с Виктором приезжали, Эрик вернулся к столу с ноутбуком, в книжках и тетрадках, поцарапанному и с незакрывающейся левой дверцей, сел за него и открыл толстый том. Том был из библиотеки, в которой Эрик работал – глянцевого, желтого, в супере, с изображением свирепой японской куклы на обложке.

Эрик пытался сосредоточиться, но сделать этого не мог, потому что это как деревяшка, которая никак не может стать водой, и если твердый лед, например, может стать водой и расплавиться в воду – в сильную и гибкую мысль, способную омыть изнутри теплом, то деревяшка только плавает в мозгу, тычась в него изнутри и выступая наружу в ландшафт каким-нибудь нелепым обгрызенным краем, и все.

После того, как пропала Офелия, он словно перестал ориентироваться и внутри комнаты, которая была куб, и внутри большого куба, которым был этот горный поселок с чайными плантациями и телескопической вышкой, продолжающийся в мир своим расширением. Но если раньше понятно было, как куб комнаты, в которую был встроен мягкий шар мыслей Эрика, его светящийся разум, – как этот куб со светящимся шаром встраивался в большой куб мира с горами, плантаци-

ями и далеким морем, мерцающим между двух склонов гор, то теперь все разладилось и все три объема Эрика плавали отдельно, не стыкуясь и не выстраиваясь по Полярной звезде, и не могли найти своего места. От этого у него временами кружилась голова, и его мучило, словно он прокатился в болтанку от Сочи до Сухуми на прогулочном катере послушать орган, сработанный немцами в 60-е годы, а вместо этого пошел в туалет, и его там долго тошнило.

Он временами мог даже забыть про простые вещи, например, зачем ему книга про японских кукол, вот и сейчас – взял и забыл, только средний куб (комнаты) зажегся гранью, это заходящее солнце метнуло золотой луч в зеркало на комод, и то отозвалось теплым облачным сиянием, как растворенное в воде облако марганца, и вот в этом розовом облаке снова вспомнил – посылка.

Она лежала на диване наполовину распотрошенная, а рядом переливался драгоценной тканью в вензелях и ало-золотом шитье костюмчик карлика. Но на самом деле не был этот костюмчик костюмчиком карлика, потому что он был одеждой куклы, которая приехала сюда, в комнату Эрика, из Японии, прислала его Наталия – давняя подруга, с которой он при трагических обстоятельствах два года назад расстался навсегда в Москве и даже попробовал застрелиться, но дальше уточнения цен на оружие дело не двинулось, и он до сих пор удивлялся и не мог понять – почему. То есть на диване лежала японская кукла, которую прислала именно На-

талия и именно ему, и тоже непонятно, зачем.

Да-да, Офелии не было видно уже неделю, когда ее стали разыскивать, он думал, что она сорвалась, уехала, но теперь он знал, что дело плохо, что с девочкой могло случиться что-то, может быть, даже непоправимое, но что все равно еще можно каким-то образом поправить.

Иногда он думал, что она – в горах. То есть он даже знал наверняка, что она не в другом городе, а в горах – сначала он думал, что она там одна – прелестная, загадочная, лопочущая, как обморочная птица соловей, то на армянском языке, то на греческом, а то на английском, но теперь душа Эрика прозревала в горной дали Офелию не одинокую, а словно бы какие-то фигуры с ней были рядом – большие, недобрые и как бы ржавые.

У Офелии душа была – папуаски. Она могла читать наизусть по-английски Шекспира и не знать имени автора, уху у нее было проколото в пяти местах, а ниже пупка была татуировка, изображающая в два цвета какого-то затаенного мужика из религии гаитянского черного населения, вуду.

Кто-то говорил ему, что ее прабабка была турецкой княжной, а сама Офелия могла придти к нему ночью с зажженной керосиновой лампой и наушником в ухе, поставить керосинку на его стол (и это пока он спал) и всю ночь сидеть и глядеть, переживая и бормоча, на пляшущее желтым и красным пламя за тусклой слюдой. Керосинку она забыла, и на следующую ночь он зажег ее и сам сидел до утра, разглядывая

пляшущий и потрескивающий огонек в фиолетово шарахающихся сумерках, переживая и бормоча, не заметив, как пролетела ночь, и с тех пор они стали с Офелией возлюбленными, но она этого еще не знала.

Японская уродина лежала у него на диване, посверкивая парчой, и вот что было особенно неприятно – ноги ее и руки вовсе не были продолжением ее основного тела, туловища, а существовали отдельно, как если в краба выстрелить трехпалым гарпуном из подводного ружья, и от этого он иногда разваливается на части. Да и туловища не было – а была под парчой пустота. А отдельное прелестное фарфоровое личико тоже лежало на диване само по себе, и только оно одно было ясной частью красоты и природы, как например луна над горами.

Когда Эрик открыл посылку и расправил куклу на диване, то замер от ее внутренней пустоты и разъятости настолько, что пустота вошла в его собственный живот и там стала расправляться, пытаясь отодвинуть ноги Эрика дальше от его туловища, чем они были на самом деле. После этого он пошел в библиотеку со свечой, потому что свет в поселке внезапно вырубili, нашел там желтую книжку про японский театр Нингё Дзёрури и принес домой. Но читать он ее не стал, а зачем-то зажег керосинку на письменном столе и всю ночь просидел, глядя в огонь, переживая и бормоча, а утром так и заснул головой на столе.

В книжке он увидел, почему кукла разъята. Потому что на

кукольной сцене ее вели сразу три человека, согласованных в своих движения чудесной, сверхъестественной для Эрика силой – один вел левую руку, другой ноги, а главный кукловод – отвечал за мимику, и жесты правой руки. А чтоб не видно было, что кукла внутри вся поврозь, – сверху переливалось парчовое платье, и вот еще что понял Эрик, вот что еще. – Все это громоздкое кукольно-человеческое сооружение, весь этот составленный из живых человеческих частей и мертвых кукольных органов монстр, плавающий в совместном усилии трех человек в черных трико с глухо задраенными лицами, – живо-мертвый урод, раскачивающийся туда сюда над сценой и купающийся в звуках музыки и марсианской речи рассказчика, вдувающего со стоном в фарфоровые губки куклы живое слово, – именно в эти минуты своего существования утрачивал свою разъятость и обретал каменную слитность, которая собирала трех кукольников и пять разных частей куклы – в одно лицо.

Эрик хотел выразиться как-то по-другому, что не в лицо, а в единство или даже в собравшееся существо, что ли, но вышло – в одно лицо. А вот уж на что это лицо похоже, на картошку, что ли, или на лопочущую бессмысленные речи пропавшую Офелию, он решить не мог. Ему достаточно было известия, что в поселок приехал Офелиин дядя, профессор, встревоженный пропажей племянницы, и что сегодня, еще перед заседанием Клуба, к нему нужно будет зайти и познакомиться.



Когда идешь через туман, как шел сейчас Эрик, то иногда думаешь о куклах, как и он. Туман спускался сизыми и млечными простынями с гор, камни-кремни блестели от влаги, а гул речки был словно завернут в вату.

О куклах думаешь не так, как о других вещах, потому что кукла не вещь, а видение. Кукла родилась прежде тебя и даже прежде твоей мамы, и когда ты и твоя мама были еще одно и то же в теплой и ясной близости, кукла все равно уже существовала и наблюдала эту близость, и поэтому, когда видишь ее разъятой, то думаешь не о ней, а о себе.

Волосы Эрика стали влажными от мелких капелек, и лицо тоже, но это было приятно. Еще Эрик думал о том, что надо зайти к Марине и взять у нее обещанную ему виниловую пластинку-раритет с музыкой Шютца. Наверное, у Шютца и Эрика могла бы быть одна и та же душа, но не потому, что его музыка Эрику нравилась, ему нравился Колтрейн. Одна душа могла бы быть у Эрика со многими вещами и даже с Мариной, белые ноги которой на зеленой простыне, почти черной от погашенного света, он иногда вспоминал с тоской и почти что с воплем, который был, кажется, такого же зеленого цвета, угольного, почти черного, и шел у Эрика из ребер, когда он выдыхал. Это было очень странно, что, когда простыня в тот вечер погасла, ноги все равно оставались та-

кими же белыми, млечными, как этот вот плывущий туман, и не только не теряли яркости, но, казалось, что еще и разгорались. Много раз они с ней хотели повторить то, что случилось тогда, словно гонясь и преследуя призрака, яркое свечение в темно-зеленой ночи погашенного света, несколько раз они приближались к нему, но так и не совпали. Казалось, что лампочка перегорала от силы свечения, так и не дойдя до самого сильного света.

Эрик подошел к магазину с открытой деревянной дверью, на которой была прибита картинка с девой в шароварах и в позе лотоса. Дева поднимала сложенные ладонями руки вверх, глаза ее были мечтательно прикрыты, а в волосах торчал какой-то бледно-лиловый цветок. Над девой на синем фоне виднелась надпись:

## НЕБЕСНЫЙ ЛОТОС

горная природная вода

Рядом с дверью стояла каменная урна со вставленным в нее ржавым ведром, на дне которого валялась кожура банана.

Эрик снова думал о куклах, смеркалось, он стоял как гаснущий силуэт, вглядываясь в свои мысли, и тут к нему пришла та, что его поразила. А ну как, подумал он, – (так и подумал, старинным оборотом), – а ну как для того, чтобы моя пустота и разъятость пропали и я ожил, мне тоже нужно, что-

бы меня вели три невидимых кукловода – один ноги, другой левую руку, а главный – правую руку и лицо? А ну как они меня уже и ведут, да только я их не замечаю? А как же их заметить? Их могут заметить зрители, но кукла их заметить не может, потому что они с ней одно. В миг жизненного вдохновения-сатори они и друг друга не замечают, а действуют в высшей интуиции, которая открывает им другое зрение и полную слаженность в единении с куклой. А вот, – подумал он, – если б мне сейчас удалось наладить связь с кукловодами, то наверняка уж, прямо даже сегодня, я отправился бы в горы, туда, где колыхаются ржавые и огромные фигуры, и нашел бы Офелию, и привел бы ее назад домой.

Денег у него было немного, на днях надо было купить еще дрова и кое-какие книги, которых не было в библиотеке, и поэтому он взял не целую бутылку коньяка, а маленькую фляжку. Но чай он купил самый лучший – «Эрл Грей» высшего сорта, потому что для заседаний Клуба он никогда не жалел денег. Еще надо было купить лампочек, потому что сразу три перегорело, и он пошел через площадь с плакучей ивой, свесившейся изумрудными метелками до земли у здания забитого клуба, к магазинчику напротив.

На ступеньках магазина сидел пожилой мужчина в футболке с пацификом и кормил собаку сосиской. Лицо у него было бледное и незагорелое, значит, приезжий. Бобик заглатывал сосиску не жуя, а мужчина смотрел на него внимательно, шевеля губами. Эрик уже прошел было мимо, но тут

мужчина повернул к нему голову и улыбнулся. Улыбка у него была странная – собачья какая-то, хоть лицо и было лицом волевого стрелка Вильгельма Теля, с серыми зоркими глазами. Эрик купил лампочек, положил их в оранжевый рюкзак, а когда вышел, то мужчины уже не было видно.

Марина вела себя неприступно, презрительно. Сказала, что скоро придет муж, как будто муж не знал, кто они с Мариной друг дружке. Хотя Эрик и сам про это не знал. Она была одета в синюю, в обтяжку, блузку с темными тюльпанами, и от этого хотелось погладить ее по вырезу на груди и даже засунуть туда всю голову – вот ежели бы можно было засунуть голову в этот теплый айсберг и уплыть, держа в одной руке ее колено, а другой гладя волосы. Вот бы они так и путешествовали между улиц и тумана, неважно, что видимые кому-то, но пусть бы речка шумела, а он бы становился все более нежным и тонким, чтобы стать с ней одно, но не так, чтобы совсем себя потерять.

Он сидел за столом с фарфоровой чашкой кофе и купленной фляжкой «Белого аиста» и смотрел в окно, почти полностью закрытое виноградными листьями. Она протянула ему пластинку Шютца, большой белый квадрат с влажным отблеском глянца, и Эрик начал сходить с ума. Когда он ее видел, это случалось, и тогда никто не мог ему помочь.

Он сказал: Марина, ты черт.

– Пей кофе, уже остывает, – сказала она. А он вдруг понял в своем безумии, что никогда, ни разу в жизни он не замечал

на ней грязи, потому что ни разу у нее не были испачканы носки, или юбка, или брюки – ни глиной, ни краской, ни пылью. И это здесь, в поселке! На этой чистюле никогда не задерживалась ни одна пылинка, только белые ноги светились, разгоняя и желанную, и пугающую Эрика тьму.

Он заплакал, а она сказала: это твои крокодильи слезы, бедный.

Потом подняла его голову, положила правую его руку к себе на голую грудь, под блузку, и поцеловала в губы так, что с губы потекла кровь на рубашку, а его безумие прекратилось, и он вспомнил, как на практике в школе они ходили по розовым плантациям и собирали красные лепестки в большие серые мешки.

Отчего же, думал и говорил он, отчего же. Отчего же я искал смысла, и духа, и света, долго и сильно, и тщательно и безумно. Уже в юности понял, в юности, что есть мудрость, есть свет нетварный, озаряющим, осеняющим, – говорил он, уткнувшись лбом в ее голую грудь, захлебываясь слезой и словом, отчего же Марина. – Вот птица Феникс – большая, живет в Египте, сгорает как шар волос, пересушенных на солнце, полыхнув вонью, и, бессмертная и нагая, вновь восстает. Вот так и я, Марина, – ни на кого не был похож, я готов был презирать всех этих сыновей отцов – а они в свою очередь презирали отцов, чтобы повторить их судьбы. Но я не стал повторять. Я захотел сгореть, как бабочка Гете в стихотворении «Блаженное томление», Марина, и разве я не томился блаженно? Ты помнишь «Блаженное томление», Марина? – Помню-помню, попей моего молочка, моего белого плотного света, попей, Эрик, бессмертная моя птичка-кузнечик, пей большими глотками глаз – свет моей кожи, блеск моей ноги, зарницу моего подбородка, бедный мой мальчик, подлый и ясный!

Я подсматривал за соседкой, Марина, как она мылась в ванне, и как вода под душем, свиваясь, как полотенце, только прозрачное, текла с ее груди, с ее сосков, и тогда я мечтал о тебе. Я был мальчик, я смотрел в ванну из туалета, сквозь

дырку в стене – это была большая ослепительная птица фламинго, и я видел птичий коготь на ее ноге – шестой птичий палец. Помнишь, помнишь, как у ангела Леонардо палец – с когтем: то пророческий палец, указующий на тебя, Марина, и на меня. А потом в университете я продолжал читать. Но не просто читать, но и жить – Яков Беме, а потом Серафим Роуз, а потом Силезский Ангел, а потом Рудольф Штайнер, а потом Ричард Бах, ты знаешь, вчера он разбился в авиа-катастрофе, и его отвезли в больницу, он сломал несколько своих сильных и белых костей, и неизвестно, выживет ли теперь. Не бейте меня, не бейте, – заходился Эрик, просовывая голову все дальше под блузку Марины, так, что уже его черные волосы на макушке показались у ее подбородка. – Но они били меня. А я читал и любил, читал и любил. Я любил женщин и читал книги. Трудные, кем только не проклятые, большим количеством народа, и загадочные – Гермес Трисмегист, Альберт Великий, Псевдо-Дионисий Ареопагит, Гроссетест, который все знал про свет и его саморазмножение. Я глаза проплакал и протер их о книги, как Катулл о губы Лесбии, так я протер их о шершавые не целованные никем, кроме меня, страницы, Марина. Мир бросался на меня, как волк, когда я выходил из библиотеки и садился на лавочку в ночи, в центре Москвы. Мир подходил ко мне, как девчонка, садился рядом и заговаривал, чтобы раскрыть молнию на моих брюках и припасть жадно, ненасытно и взять у меня вечное семя, а я светился, и свет мой

был долог и высок. Я лазал по деревьям этим светом, не сходя с места, я провожал девчонок презрительным взглядом, когда они шли от меня, как пьяные, чтобы уже никогда не протрезветь, чтобы теперь отдаваться водилам, грузчикам и доцентам, потому что ноги их уже не сцеплялись с землей, но тщились сойти с белого облака и не сходили!

Ты знаешь, я бы мог быть доцентом! Но я все бросил!

Я искал ответа у Алхимии и Астрологии, в Некромантии и Каббале, и я нашел его. Я почти что нашел его, Марина, но он так мне и не дался! Но я шел вперед, я настаивал!

– Боже ж ты мой, – пролепетала Марина хрипло, страсти какие. – Ты уж, дитятко, не пугай маму-то.

– Я настаивал, Марина!! – взвился голосом Эрик, – настаивал! Я бросил доцентуру! Я бросил докторскую. Я бросил жену. И вторую жену я тоже бросил, потому что золотое свечение манило меня, когда я шел через осенний парк, а фонарь горел, словно сова или птица феникс, голая и золотая, вся одетая в свет и шар истины. И тогда сам Бог заговорил через мои губы, как будто он был фонтан, а я маска фавна с раздутыми щеками и смешным заплетающимся ртом, через который течет вода, разбиваясь на мелкие сияющие брызги, невнятно произнося благую весть, полную жарких секретов и тайн, и кто их подслушает и поймет, тот и будет владеть всем миром и даже небесами.

– Гурджиев! – взвизгнул Эрик, – несравненный мастер! Неужели же ты думаешь, что все они сумасшедшие, – зашеп-



тал он тихо и жарко. – Нет, – провидцы! Это мы сумасшедшие, мы! А они – провидцы. Мы молиться на них должны, а мы их не знаем или, хуже того, презираем. Но они... они – смерть нашего тусклого, нашего убогого, нашего тупого, ничтожного, как будто берцовая кость коровы в поле или череп ее на суку в огороде рядом с мангалом и шашлычницей, – нашего сводящего меня с ума мира. Сводящего с ума, потому что он никуда не девается, и сколько ни читай и ни знай, а он все тот же – голый коровий череп, насаженный на шест, и не оживить его, не отдышать, будь он проклят. И я, Марина, я... не могу больше... Он убивает меня... Я презираю его, но он презирает меня еще сильнее, этот мир – и в огороде, и в автобусе, когда я еду в Хосту или на Мацесту, или... Но не важно, не важно... – снова зачастил он в Маринину грудь, и тяжелая слюна полилась ей на млечную кожу, а Эрик словно содрогнулся, словно был это и не Эрик вовсе теперь, а член неизвестного бога, совершающего любовное излияние, и тут Марина завизжала что было мочи, так, что начали дрожать окошки, и, додрожав, одно из них, выходящее во двор, лопнуло и посыпалось хрустальным и мелким дождем на цикад и кузнечиков, и на землю.

– Любовь моя золотая, подлец мой ореховый, – бормотала Марина, качая головой с рассыпавшимися до пола каштановыми кудрями, сидя на стуле, ничего не видя и не слыша, словно китайский болванчик, заведенный маленькой девочкой с измазанным шоколадом ртом, который если и остано-

вится, если и уменьшит белые свои кивки, то снова толкнет его перемазанная девочка, и снова будет он долго качать головой, пока окончательно не замрет на полке в бесконечной ночи и квартире.

А Эрик уже бежал по улице под лай собак-истеричек, прихватив чай с бергамотом и мерцая глянцевым Шютцем подмышкой, бежал под белой луной, и рот его чудной был так странно устроен в тот час, как ни у кого из людей, потому что не бывает у людей так, чтобы одной половиной рот улыбался, уходя верхушкой прямо вверх, прямо к небу, а другой зарывался в землю, как крот, и плакал.

– Йок-йок, – вскрикивал Эрик – Йок-йок!

До чего же красив был он, облитый луной и черной тенью, Марина, до чего ж красив и не похож вовсе на человека – то ли ангел он был, а то ли и лебедь.

Горы есть горы есть горы. А Кавказ это другие горы. Те, остальные горы, выстроены снизу – миллиарды лет их выдавливала, извергала, формировала земля, запечатывая на альпийских вершинах трепангов и окаменелых моллюсков. Горы пришли со дна моря, из впадин, полных подземных светящихся глаз, ужаса и миллионоатмосферных конвульсий – поднялись, стали. А Кавказский хребет – другой. Он пришел с Луны. И даже не с Луны, а с еще более отдаленной звезды, которая воздвигла его, сначала невидимо на Луне, а потом уже он спустился на Землю. Спускался сначала он не как формы материи, базальта, гранита, кремня, а как формы мысли – бессловесного разума, чистого и всесильного, похожего на падающий снег на улице Верхней Масловке, когда каждая снежинка видна, как она, вращаясь под фонарем, движется, нарядная, к *земле* и собственной тени, чтобы там войти, минуя свою тень, в свою же единственность и неповторимость.

Разум этот, о котором здесь говорится, – не снежинка та или другая – а то пространство, в котором эти снежинки падают к земле. Пространство – чистое и бескрайнее. С такого пространства и начинались Кавказские горы. Но постепенно к чистоте этой примешивались не такие возвышенные состояния разума, а более низменные, как тогда, когда на си-

яющем беспределе боги распяли Прометея, и сияющий беспредел подсох, и сжался, и отдался, и запекся гранью, и пещерой, и рекой, и ее звоном гулом, и завыванием в узком ущелье, и луной над ним.

Не забывают горы, откуда пришли и движутся вместе с Луной-Дианой. Не только воды движимы Луной, но и эти горы. Прислушайся в новолуние – как начинают потрескивать они и съезжать со своих мест, словно не окаменевшие это махины, а океанские корабли, – да и есть они корабли с мачтами и парусами, приплывшие сюда от другой звезды, но кто же сейчас это разглядит, кроме разве что нескольких знающих человек, обитателей здешних мест.

Горы эти много чего помнят и знают, потому что это и не горы даже, даже и не корабли это, а существо, наполненное другими живыми существами, словно бы человек, но огромный, горный и нездешний. И есть у него такое свойство, что людские мысли запечатлеваются на нем в виде кристаллов и граней, отвесов и кубов – словно бы замирая и находя иные формы для себя, новые и причудливые, больше похожие на землю с кварцем, чем на воздух или сознание.

Течет река, бурлит в узком ущелье. Луна заглядывает вниз, серебря поросшие тисом вершины, достигает берега в валунах, и от того сверкают пороги, как молоко или даже алмазы, полной пригоршней брошенные в молоко, точно такие, какие хранятся в алмазном фонде, где есть орден святого Андрея – распятый бриллиантовый человек на кре-

сте-иксе. Тяжек валун, сер. На нем сидит Офелия и смотрит на поток. А рядом сидит, привалившись к валуну, еще одна фигура – мужская, в воровском капюшоне и узких штанах, словно ржавая – сидит, не шевелится, смотрит окаменевшим взглядом на бурливую реку. Тени исполосовали поверхность в молоке и алмазных блестках, гудит река, изредка вынырнет на поверхность сияющая чешуя – для рыбы велика, для человека чересчур ослепительна, блеснет в луне и скроется, вот и гадай, что это было – никто не смог угадать.

– Зачем сидишь? – спрашивает Офелия, но не отвечает человек, не сводит взгляда с реки. И тут словно все начинает бежать быстрее – быстро человек становится стариком с растущей на глазах и седеющей, как молоко, бородой, сбегаящей к его ногам, а потом голова его заваливается на бок, а тело сползает с камня, пластается на берегу, вытянувшись длинными костяными ногами в кроссовках, – мертвое, плоское. А вот и кожа его сходит с костей – брызги размягчили ее, раки да водяные крысы с лисицами растащили на части – остался один белый остов с воздухом между ребер, а вот уже и косточки с черепом разошлись по стихиям и свету, лунному да солнечному – стали светом и землей и исчез старик вовсе, как и не было, а вместо него лежит младенец на камне и плачет.

Недолго плачет и громко, и уже снова он взрослый в воровском капюшоне и словно бы ржавый, а вот и стал стариком, и умер, и распластался. И так – снова и снова. И тут

останавливается беготня и цикл, и безумие времен, и все становится медленным и живым, как и прежде – и Луна та же самая, что светит на тисы вершин, и Офелия сидит на валуне, и речка бежит, шумя, как прежде, и ветерок задувает, теплый, мягкий.

Но что это там темнеет в порогах, молоке и алмазах, рядом с ныряющей чешуей незнакомого существа – темнеет, вздымаясь и опускаясь в провалы между волн и порогов. Кто плывет, глядя остановившимися глазами на склоны и камни, словно бы мысль, а не человек проходит вдоль ущелья с двумя сидящими на берегу. И словно бы хочет он что-то сказать, но не скажет уже никогда, потому что всажен в печень косою клинок, и печень вытекла наружу жизнью и кровью, смешалась с водой и песком и уже не хочет вернуться назад, в бородатое тело, пахнущее французской туалетной водой. И жил бы он еще, и целовал бы дев в своем мерседесе, и купался бы в бухте под Венецией, в Лидо или еще где, но вот сел другой человек на камень на берегу речки и ждет. День за днем и месяц за месяцем. Ждет не восхода солнца, не пробежки выдры по мерцающему от звезд берегу, не далекой песни и не вопля шакалов. Даже не ласки, не поцелуя Офелии ждет, не раскрытого ее белого тела. А ждет он того, что проплывет мимо него труп врага. И тот плывет.

Если глядеть не отрываясь, то можно увидеть, что бледное лицо Офелии разделено как бы на две части – солнечную и ветреную. Солнечная часть это лоб. Как на все солнечные пространства, на него так и тянет голубей, чтобы сесть, как на площадь, и поворковать-покурлыкать, подметая хвостом твердый солнечный камень под красными лапками. Еще там хорошо расти пальмам, и овраги кончаются, когда добираются сюда. Тут плещут бледные раскатыстые волны лазурного цвета, достигая твердых очертаний и откатываясь от них в блеске и шуме.

Раковина, поднесенная ко лбу Офелии, начинает гудеть все сильнее по мере приближения, а когда соприкасается, то начинает петь и разговаривать на голоса. Ее говор и отдельные слова можно понять, потому что при солнце многие лунные или глубоководные слова становятся совсем понятными, и даже дети могли бы их растолковать – еще их можно понять и потому, что они совпадают со многими словами, которые говорит сама Офелия, неважно на каком языке. Они словно становятся словами и Офелии и не Офелии, словами и раковины и не раковины. Так вообще-то часто бывает, особенно если человек мудр или влюблен, но сейчас не об этом.

Слово раковины и слово Офелии говорят вроде бы одно и то же, например – привет! однако то слово, которое боль-

ше Офелия, чем раковина, говорит привет, слыша шорохи и шепоты раковины, а то слово, которое больше раковина, чем Офелия, говорит привет, слыша дыхание самой Офелии.

Еще на солнечной части лица находятся ее голубые глаза. Они непохожи. Потому что правый глаз смотрит вдаль, а левый смотрит вверх, как это всегда происходит с озерами, в зависимости от того, что в них отражается – если берег с желтыми деревьями, то озеро смотрит вдаль, а если небо с какой-нибудь хвостатой и кривоклювой птицей, то тогда озеро смотри вверх, туда, где облака. Конечно, на самом деле озера смотрят только в ответ на нас, но все равно так принято говорить, что они смотрят.

Вот и про глаза Офелии поэтому можно сказать, что они смотрят и что они похожи на озера. Особенно если по озеру проплывает какая-нибудь лодка с рыбаком и с удочкой, то тогда даже если сама Офелия и спит и ничего вокруг не видит, то в глазах ее все равно плывет рыбак и блестит леска, и от движения лодки остается на воде такой след, как от складок мягкой простыни, но если простыня сама не выравнивается, а ждет прикосновения чей-то руки, чтобы снова стать ровной, то поверхность озера делает это без руки и сама.

А ветреная часть лица Офелии – это волосы и губы. Губы ее такие же точно, как вы видели, путешествуя по какому-нибудь лесу и наткнувшись на старый, почти невидимый и заросший окоп – он начинает вас тревожить, хотя вы не понимаете, почему. Таких всхолмий и бугорков полно в ле-



су, но окоп это совсем другое дело, и вы гоните эту мысль от себя, потому что она привязалась к вам, как муха.

А дело в том, что вы, конечно же, знаете и понимаете без слов – этот холм окопа тихо связан с жизнью и смертью, потому что кто-то из солдат выбрался из него и пошел дальше через лес и жизнь, а кто-то в нем умер и уже никуда дальше не пошел. Только ветер играет листвой выросшей над окопом березки и тихо шелестит в ней. Но этот ветер над окопом совсем не то, что ветер над поляной, потому что и в нем появляются слова и интонации, знакомые с детства, а более отчетливо прочитать их вам все равно не удастся, как бы вы ни бились.

Губы Офелии тоже связаны с жизнью и смертью, хотя, конечно же, если гнаться за поверхностным сравнением, то окоп никак не напомнят, а напомнят красную рану, которую я видел, когда один из друзей полоснул себя бритвой по голой руке, неизвестно почему. Он потом сказал, что и сам не знает, отчего он это сделал, но мне кажется, что он хотя бы догадывается, что это было, а вот Офелия вряд ли догадывалась, откуда у нее такие красные губы жизни-смерти.

И вот еще что – вот еще что. Ноздри ее были похожи на гнезда или на то, как плющится улитка по стенке сарайчика в лунную полночь. И когда она вдыхала, то улитка ползла к одной звезде, а когда выдыхала, то замирала на одном месте, словно вслушиваясь, куда ей ползти дальше.

Подбородок ее был похож на то, как вы шли и шли в дет-

стве, грея в кармане булыжник, чтобы запустить при случае в кошку, и он там лежал еще теплый от солнца, которое освещало его, пока он, обкатанный, валялся на дороге, прежде чем вы его подобрали и сунули в карман так, что брюки ваши серые перекосились и пояс съехал набок, а вы шли, оглядываясь на бетонную стенку бассейна в солнце, на белку, сигарющую по чинаре, на тропинку и на свою босую ногу на этой тропинке, что бежала вверх, к вершине горы и на которую иногда выползали змеи-медянки, и вот вышли на какую-то высоту – словно бы холм, и отсюда виден и ваш город и все остальные города, и вы там стоите и крутите булыжник в руках, и хотя не понимаете, для чего он вам теперь, но все равно счастливы, что он есть, потому что вы здесь целиком оказались в счастье, а думали, такого не бывает, а теперь только оно и есть.

Волосы ее были похожи на те дороги, что тянутся через горы, соединяясь, когда обходят гору с двух сторон и здесь встречаются. Еще они были похожи на чернозем разрытой почвы, потому что пахли по-разному – если уйти в них глубоко, то они пахли грибами и землей, а если их раздувал ветер, который они же и рождали, то они пахли теми подснежниками, которые растут здесь, в горах, и тоже имеют переливчатый и необыкновенно прекрасный запах. И я думаю, что поэтому в каждом подснежнике, если тихо и долго в него смотреть и нюхать, живет Офелия, и не в переносном значении, а в самом прямом, как улитка в домике или младенец

в своей матери.

А если смотреть в лицо Офелии, и даже неважно, в какую его часть – ветреную или солнечную, то становится ясным, что все здешние мосты и переходы через горные речки с их скользкими – не дай бог ступить оплошно – камнями и есть Офелия, и кремень камней то же самое, что отсвет ее ногтей, за которыми она тщательно следила, а паутина, колыхающаяся в глухоманной тисовой роще, это и есть колыхание грудной клетки Офелии, а васильки, что иногда растут, но не здесь, в горах, а пониже, и есть вкус ее губ, и не дай бог вам их тронуть. Потому что если вы их тронете, то забудете свои слова и не вспомните новые, но так и будете лежать где-то рядом с автобусной остановкой возле Воронцовских пещер и подвывать от беспамятства.

Вот и сейчас на неопрятном гравии, что раскидан во-круг остановки и ржавого ее остова с металлической таблич-кой-расписанием автобусов, на которой нет ни одной цифры и нет даже названия маршрута, вот и сейчас валяется рядом фигура в китайской куртке, корячась и всхлипывая.

Конечно, то, что на остановке кто-то валяется, еще ни о чем не говорит, — мало ли кто где валяется — но тот, кто ва-ляется сейчас на гравии сбегающего вниз, в синее ущелье, асфальтового шоссе, корячится здесь не просто так, не слу-чайно, а из-за той своей особенности, что он падает на зем-лю и заходится, только если с ним происходят два особых случая, и никогда не валяется, если эти вещи с ним еще не произошли. Лева теряет себя и почву под ногами, либо когда на него находит любовь ко всему миру, либо когда он начи-нает думать об Элвисе Пресли.

И тогда от него словно сочится влажное пламя, окружая его белые запыленные кроссовки и джинсы и соломенную шевелюру, и от этого его словно и видно, что он там лежит и дергается, а словно бы и не видно. Т. е. если вглядывается человек с любовью, то, конечно, увидит. Или еще увидит тот, кто так же, как и Лева, любит и понимает Элвиса Пресли, а все другие видят словно марево, которое от марева их соб-ственных мыслей никак не отличается, и поэтому принима-

ют Леву за еще одну свою мысль. А поскольку мыслей и так много, то одну из них, не самую главную, они, в общем-то, и не замечают.

И поэтому Эрик долго бы еще бился и корячился, источая синее прозрачное пламя, а может быть, и совсем сошел бы с ума, но тут, завизжав дверьми, притормозил автобус, и из него вышли Савва и Медея.

– Смотри, – сказал Савва, – Лева на земле бьется.

– Где? – сказала Медея, потому что она не знала Элвиса, и, хоть и была недавно растоплена пламенем любви, но ее любовь отличалась от Левиной, и поэтому она приняла его за свою мысль.

Савва подбежал к Леве и склонился над ним, над пыльной его шевелюрой и продранной на щебне китайской курткой, и тогда Лева его увидел и обнял за шею. Лицо его все еще заходило от виденья запредельного и от чувств, которые словам не поддавались, и губы были синие, а глаза белые, но все же он узнал Савву и стал говорить.

– «Тюремный рок», – сказал Лева, – ты помнишь «Тюремный рок», Савва?

– Смеешься! – воскликнул Савва, – смеешься! Помнишь, как он на стол запрыгнул и там поет и танцует почему зря, помнишь?

– Зря он связался с Полковником, – сказал Лева. – Другой человек ему был нужен.

– Ясно, зря, – сказал Савва. – Ему надо было раньше на

Присцилле жениться.

– Не, – сказал, Лева, выплюнув кусок земли, – раньше нельзя – она несовершеннолетняя тогда была. Только ты знаешь, как я слышу «Тюремный рок» у себя в памяти, так что-то со мной делается, и я становлюсь как ангел или трава. Мне тогда хочется всего так сильно, что я просто не выдерживаю, понимаешь.

– Понимаю, – сказал Савва, – ты давай вставай.

– Зачем? – спросил Лева.

– Собрание Клуба, забыл, что ли?

– Я помнил, а как упал, забыл.

– А я вот девушку привел, она тоже в Клуб хочет. Ну-ка, держись за мою шею крепче.

Он поднял Леву с земли и стал отряхивать ему джинсы от пыли.

– Это бывает с тобой так, что ничего не можешь, потому что все уже есть? – спросил Лева, снова опираясь на дрожащие ноги в белых кроссовках.

– Бывает. Но я все забываю, как только случится.

– А я помню, – сказал Лева.

– А скажи, Савва, – продолжил он, ковыляя и волоча ноги в пыльных джинсах и обняв Савву за шею, – зачем тогда жить, если ни черта не помнить? Ты же ни черта не помнишь, Савва.

– Не знаю, – ответил Савва, – не знаю, зачем.

Их обогнал грузовик с крутящейся цистерной, оставляя

на шоссе шлепки раствора. Один шлепок разлетелся и обдал Савву с головы до ног злой грязью. Савва полез в карман и достал платок.

– Вот сволочь, – сказал он равнодушно, – гад!

Медея шла сзади и смотрела, как Лева наступал на ноги все увереннее и шел все тверже, хотя Саввину шею все еще не отпускал, а влажный огонь, похожий на горящую конфорку, едва видный и ненужный, теперь окутывал их обоих.

Потому что горящий огонь конфорки расходится в стороны, и внутри него всегда есть место. И в него можно поместить дом, птицу или друзей. И тогда они слевой идут среди него, невидимого под солнцем, и чувствуют, что они идут вместе не только друг с дружкой, но с жизнью деревьев и дельфинов, а еще с музыкой Элвиса. А Савва шел и думал, что никто не знает, кто такой Элвис Пресли. Потому что все только делали вид, что знают, разговаривая об Элвисе. А на самом деле никто ничего не знал. Элвиса можно узнать, только рассказывая о том, что ты в жизни увидел интересно, такого, чего еще никогда раньше не видел. И надо, чтобы другой тоже рассказал про то, зачем он живет. А поскольку они встретились для того, чтобы узнать, кто же такой Элвис Пресли на самом деле, то во время этого обмена главными вещами сегодняшней жизни сам Элвис начинает проявляться и рассказывать сам о себе незаметным, казалось бы, но очень явным по сути образом.

Вот так и был основан Клуб. Сначала в нем было всего два человека – Савва и Витя, а сейчас их уже намного больше, потому что у Элвиса есть такая сила раскрывать в людях то, ради чего они живут, что, ощутив ее в себе, хочешь, чтобы она росла все сильнее и охватывала бы тебя прозрачным синим пламенем, как конфорка.



Элвис!

Что они знают об Элвисе?

Потому что Элвис это не человек, а джунгли. Алюминиевые лианы, обвивающие пальмы, орхидеи и фикусы, бамбук и раффлезия, бумажное, резиновое и хлебное деревья. Элвис всегда в движении, он движется, как волк или ящерица, по мерцающим под луной полянам и смотрит на красную звезду Марса, откуда он родом. Поэтому Элвис все знает, но ничего не помнит, как и он, Савва. Элвису ничего не надо помнить, потому что все с ним есть прямо сейчас. И с Саввой тоже есть все прямо сейчас.

После того как его на ринге вырубил мощнейшим апперкотом нечестный бразилец Леокадио, Савва провалялся три дня в больнице, а когда остановилось сердце, он не перестал жить, а сильно закричал, так, что из окна вылетело стекло, и сердце снова забилось, а он встал вместе с системой жизнеобеспечения и капельницей, подсоединенной к его венам, и пошел по коридору легко и прозрачно, потому что перестал быть боксером, а стал человеком будущего, новым огнем, горящим, как светлый спирт, а капельница волоклась за ним по коридору, который он вымазал своей кровью, и никто не мог его остановить. В ту снежную ночь он дошел до дома, как прозрачный огонь, в больничной одежде и лег в постель, но заснуть не мог. И с тех пор он ни разу не помнит, чтобы заснул, хотя он и многого другого, конечно, не помнит.

Элвис – вот кто мог бы понять Савву, потому что Элвис

из новых людей был самым первым. Он делал, что хотел и что хотела его душа. И если вы еще не поняли, что Элвис – это новый человек, то послушайте «Голубую луну Кентукки» или «Отель, где разбиваются сердца», который сразу же разошелся миллионным тиражом, и вам все станет ясно. Вы увидите, что Элвис – это джунгли, где растет хлебное дерево и воет волк.

Они подошли к возвышающемуся над поселком дому, вокруг которого горел невидимый огонь, а во двор, увитый виноградом и выющимся по сетке киви, можно было войти, открыв ржавую железная калитку.

Когда дверь в дом открывалась, то Савва мог видеть в самой глубине темного длинного коридора узкое высокое зеркало, поблескивающее, как кусок луны, поставленный на попа, а в нем свое далекое и правильное отражение, и каждый раз он этому удивлялся. Как будто дальнее зеркало только и делало, что его, Савву, знало и ждало, чтоб показать маленьким и далеким. И, наверное, если глянуть туда пристальней, то в отражении можно увидеть не только Савву и Леву, который висит у него на шее, и не только бледное лицо Медеи за их плечами, но и все горы и снежные вершины и даже, наверное, тех козлят, что развели таджики и абхазы на краю поселка, и чайные плантации, и пасеку на склоне, и тис по берегу реки.

Собака на них почти что не лаяла, только подвывала чуть-чуть.

– Проходи, Медея, – сказал Савва. – Прямо по коридору.

Медея пошла по темному коридору и закрыла от Саввы зеркало. Следом вошел Савва слевой, заснувшим на его плече и бормочущим всякую чепуху, пуская слюну. Савва потащил его налево в ванную, чтобы умыться и ободрить с дороги, а пока Лева умывался Савва стоял перед большой, подвешенной под потолком черно-белой картиной, изображавшей Париса, похожего на одного знакомого грузина, у которого Савва иногда покупал грибы. Напротив Париса стояли три голых богини. Таких Савва видел однажды в детстве, когда заплыл на женский пляж – толстых, белых, застывших. Но каждый раз, когда он сюда заходил и натыкался на репродукцию, он смотрел на нее заново, потому что все время ее забывал. Вот и теперь он стоял напротив нее и смотрел на пастуха и голых богинь, и губы его беззвучно шевелились.

Окна комнаты, где проходило очередное заседание Клуба, выходили на юг. Днем из них можно было видеть священную гору убыхов, таких людей – наполовину атлантов и наполовину птичек, которые жили здесь прежде в лесах и горах, чирикали, воевали с русскими, а потом пропали где-то в Турции. А еще в окне между склонов двух синих гор днем синел дальний кусочек морской синевы с белым пароходом, величиной с муху, что полз от одного склона горы до другого.

Сейчас занавески были задернуты, потому что за окном было темно и чтобы никто в него не заглядывал. Когда Савва вошел в комнату, спотыкаясь обо чьи-то ноги и качаясь широкими плечами, Эрик стукнул в крошечный гонг, с которого отсвечивал яркий желтый клин.

Эрик был какой-то заплаканный, как увидел Савва, но с лицом Эрика часто происходили разные вещи, Савва это понимал.

Однажды его лицо можно было спутать с лицом Марины, что жила на спуске к памятнику, а однажды лицо у Эрика было как лопух, шершавый изнанкой и цвета серебра. Иногда Савва вспоминал про лопух, а иногда про Марину, и каждый раз дивился, но не очень. Потому что Савва знал, что когда лицо изменяется даже до неузнаваемости, его все равно всегда можно узнать по самому факту перемен. Они, перемены,

у одного лица происходят в направлении вперед, к жизни, любви и отчаянию, а у другого обратно – к успокоению и замыканию на смысле собственной кожи и идеи. По лицу всегда видно, о чем человек думает, и где его родина сегодня, вот поэтому у Эрика сегодня родина была там, где плачут.

Профессор Воротников как-то рассказывал, что раньше люди плакали все и не стыдились, но Савва об этом забыл и вспоминал редко, хотя, как только вспоминал, то каждый раз у него внутри дергало какую-то занавеску за шнурок, и та распахивала Саввину грудь и озаряла его дальние и бесконечные внутренности ослепительным светом. Это потому что в слезах всегда набирается много света, больше, чем они могут выдержать, и от этого срываются вниз, а в самом плаче заключено очищение людьми друг друга и всей земли тоже. Но сам Савва брезговал плакать, хотя и старался научиться.

– Говорите, – сказал Эрик. – Мы сегодня еще не говорили и не сделали работу, которая каждый раз с помощью Элвиса Пресли создает мир не губкой с жирной водой, а возвращает ему движение планет по небу и настоящую и живую красоту. Главное говорить правду и ничего не придумывать. А Элвис дополнит все остальное для того, чтобы деревья и дальше росли, птицы летали, а девушки кричали изо всех сил от счастья!

– Я волнуюсь, – сказал Лева, рисуя пальцем на коленке какую-то фигуру и запрокинув неразличимое и белое лицо к потолку, – я волнуюсь, потому что как всегда. Я же гово-

рю про Машу-учительницу и ее «Незнакомку» Крамского. Она всех прощала и не могла никак понять, как это устроено так, что она желает детям добра и знаний, а они ее один раз обокрали, а еще один из отцов пришел, чтобы ее ударить. У нее была оспина на верху левой щеки, а над постелью висела «Незнакомка» Крамского. Я лучше стоя буду говорить...

Лева встал, и слова дальше выходили у него изо рта не как обычные звуки, которые можно услышать, например, в 23-м автобусе до Адлера или в пельменной «Ромашка», а в форме настоящих событий и предметов разных лиловых и золотых цветов.

К таким словам пока еще никто не мог привыкнуть, хотя в Клубе Элвиса случалось так, что многие умели их говорить, но, конечно, не в обычных ежедневных случаях, а по вдохновению.

– Маша-учительница была как кошка, но не дикая, а гладкая и серая, – говорил Лева. Она жила в бараке на Бытхе, где в 50-е годы была начальная школа. Она жила в комнате, похожей на голубиное яйцо, а на правой щеке у нее была оспина, похожая на маленькую луну. Луна иногда делалась больше, как будто бы догоняя рост настоящей луны в небе, но никогда не догоняла, только светилась немного сильнее, при нарастании лунного света в небе. А когда луна в небе терялась, то терялась и Маша-учительница. На два или три дня, и никто не мог ее найти, хотя при этом и разговаривал с ней или даже шутил. Но потом про это сразу же забывал и

никак не мог вспомнить, что это он такое только что делал и с кем шутил.

Савва разволновался и сказал, привстав, что, да, такое бывает, но не со всеми. Что розы, например исчезают совсем часто, становятся черными, как головешка в печи, а потом сразу же куда-то деваются, а вот еловые шишки и билеты на поезд могут обойтись без исчезновений, стоят себе на одном месте и все. Потом он сел, лизнул косточку на правом кулаке и снова стал слушать.

– Так вот, – сказал Лева, – волосы она зачесывала назад и закалывала русский пучок коричневым гребешком из кости, хотела выйти замуж за хорошего человека, но не знала, зачем, наверное, для того, чтобы ее жизнь стала другой и чтобы она вылупилась из своего голубинового яйца, для которого была уже большой. Однажды кто-то подарил ей лакированный широкий ремень на талию, она примерила его, но носить не стала, потому что ей казалось, что он слишком сильно блестит и это может отпугнуть от нее детей и соседей. Но на самом деле Маша сама испугалась этого блеска и лака, которые слишком сильно выделяли ее из окружающих учителей.

Но хорошего человека она найти не могла, потому что после киносеанса или танцев все тянули ее в кусты, а она ждала сильного и культурного мужчину, а не всякую шантрапу, обычных местных хулиганов. В ее комнате висела географическая карта и репродукция картины Крамского «Незнакомка». Это я уже говорил. И когда Маша ложилась спать, слы-

ша, как из санатория играют на танцплощадке вальс-бостон или краковяк, то Незнакомка Крамского серебрилась в свете луны, и если наверх из города ехал рейсовый автобус, то от его фар по комнате и картине начинали мучительно удлиняться тени, словно натягиваясь и сокращаясь, как резинка подводного ружья. Потом автобус заворачивал, и тогда с ружья соскакивала стрела и все, метнувшись назад, пропадало и гасло, кроме глаз Незнакомки Крамского. Ее глаза с очень темными ресницами все равно еще долго вздрагивали и мигали и когда уходил автобус, и потом – когда с танцев возвращались парочки и шли, шурша щебнем и переговариваясь, под Машиным окном.

Но хоть ружье уже и выстрелило, водоросли все равно еще оставались какое-то время в комнате с крашеными в голубое и серое стенками и покачивались.

Маша знала все города на свете, потому что преподавала географию, и знала все реки и горы, и даже как живут люди в Албании, но не знала, что ей делать с этими водорослями, в которых у нее вместо двух ног иногда начинал расти хвост, похожий на птичий. И тогда она начинала словно захлебываться и, давясь, поворачивалась лицом в подушку и щелкала и свистела туда разные дивные звуки, вроде удода или кричащей чайки.

Иногда она не могла остановиться целый час, но когда переставала, то понимала, что была в стране счастья. Об этом она никому не рассказывала, потому что ее брат однажды



сошел с ума, и Маша навещала его в больнице, где пахло вареной капустой и лекарствами, а лицо у брата было серым и землистым. Брата, конечно, вылечат, потому что в больнице работают очень хорошие доктора, но Маша решила все равно никому не рассказывать про свой час ослепительного счастья, похожего на гору, где среди проржавевших заборов цветет какая-нибудь бело-розовая, как снег, вишня, и от этого ни ей, ни тебе уже ничего не жалко, даже самой жизни.

– Я все сказал, – задохнулся Лева и посветлел глазами.

– А если у нее была луна на щеке, то у нее могло быть и солнце, – сказал Витя.

– Где? – спросил Николай-музыкант.

– Не знаю, – сказал Витя, – может, между грудей, где сердце.

– Тогда у нее еще должны быть и звезды с метеоритами, – пошутила Медея, девушка Саввы.

Лева вскочил со стула и стал бегать по комнате, спотыкаясь о ноги и ковер. Потом сел на пол и со стоном спрятал голову между белых коленок, засветивших из продранных джинсов.

– И все остальное, и все остальное, – бормотал Лева в пол, почти достав его лбом. – Пещеры, и облака, и пляжи, и железная дорога с хорошим человеком.

– Так она его встретила? – спросил Витя.

– Это неважно, – сказал Лева в пол, – а важно, что она была девственницей, как римская весталка, и цвела сереб-

ряным цветком и губами. Значит, она пророчила и видела самое главное, а не всю эту дрянь. И без нее нашего города не было бы, и Луны тоже не было бы. Я иногда думаю, что она до сих пор жива и, может, в Сибири или в Краснодаре готовит обед внукам.

– Но если она девственница, то какие у нее могут быть внуки? – снова спросил Николай.

– Это не ее внуки, – сказал Лева. – Это внуки брата. Он вылечился от помрачения ума и взял Машу к себе.

– И правильно сделал, – сказал Николай-музыкант. Было видно, что он волнуется. Если ты человек-дерево, весь в холмах, невидимых ветвях и наростах, то тебя держат корни, а ветер раскачивает. И сейчас ветер раскачивал Николая и свистел у него в волосах и во рту. И когда он делал губы колечком, то ветер начинал гудеть, как будто в большой пустой бутyli.

– Мы с Витей оставили включенный магнитофон в горах, это нужно для музыки, сказал Николай среди гудения, – и ушли. А он там остался и записывал все, что случалось, но при этом за ним никто не наблюдал, что очень важно для рождения музыки, потому что пока есть наблюдатель, то есть и дерево, и ручей. А когда наблюдателя нет, то нет, возможно, и дерева, а возможно, нет и ручья. То есть, возможно, они все-таки и есть, но, наверное, они совсем другие – не такие, как в присутствии какого-нибудь человека, который своим наблюдениями так на них влияет, что от них ничего первоначального не остается. Потому что наблюдение это активный акт, а наблюдаемое – может быть, даже и не совсем вещь, а скорее чистая идея, полая, как авоська, и в нее можно загрузить все, чего хочешь...

– Я тоже думал об этом, тоже – загорелся Лева, дернув ногой в белой кроссовке. – Есть мир полых идей, платонов-

ские полиэтилены. В них чего хотят, то и запикивают, никто не понимает, что это у него только в голове...

– Что в голове? – спросила Медея.

– А что загружают, то и есть, – сказал Лева, дергая вытянутой вдоль ковра ногой и вообще никуда не глядя, как будто бы то, что он видел своими синими глазами, остальные глаза увидеть не могли. – Кто-то грузит работу, а кто-то тарелку пельменей с уксусом, – добавил он, – вот они и видят вместо дерева что-то совсем непутевое. Например, начальника с бородавкой или какую-нибудь глисту.

– При чем тут глиста? – удивилась Медея, а Лева уставился на ее круглые коленки и собрался отвечать, но почему-то закрыл рот и так ничего и не сказал, а просто еще раз дернул ногой и скривился, наверное, оттого, что снова увидел то, чего никто не мог видеть.

– Что отражает зеркало, когда в него никто не смотрит? – все-таки не удержался Лева.

– Шкаф, – сказала Медея. – А что еще?

– Откуда ты знаешь, – стал заводиться Лева, – ну скажи мне, откуда? Ты что, там была в то время?

– Я не была. Но мало ли... Шкаф-то был. А что ему еще отражать? Конечно шкаф. Что же еще?

– Ну... ежика, например... Или то, чего ты даже себе представить не можешь своим умом. Пока тебя там нет, оно не может отразить то, чего ты можешь представить своим умом... Или представить другой человек. Значит, оно отра-

жает то, чего никто из людей не может представить – то, что мы есть на самом деле, но не знаем.

– Совсем не знаем? – занервничал Савва. – Кто мы есть на самом деле? Или можем немного догадываться?

Лева задумался. На белом его лбу обозначились сразу три морщины. Потом он вцепился себе в волосы и закрыл глаза. Было слышно, как на улице подвывала соседская никчемная собака в колтунах, которая любила душить куриц, и поэтому была прикована цепью к своей будке.

– Можем догадываться, – сказал Лева. – Редко, – добавил он строго. – Да, редко, иногда.

– Наутро мы с Витей прослушали запись, – продолжил Николай-музыкант, уловив паузу в разговоре, – там оказались слова на нерусском языке. СИП, ЦЪА, ГУ, ЧИ, ССЕ, – Николай стал петь высоким голосом, словно сверкнув невидимой фольгой в воздухе, и от этого в комнате стало светлей. На последнем слове он приподнялся на цыпочки и всем сразу показался красавцем. Потом он снова опустился на ступни, и его снова начал раскачивать внутренний ветер.

– Мы с Витей долго думали, что это может быть, – говорил Николай, качаясь. – В горах есть вечные люди, они там давно, они такие, что всё знают, но их никто не видит. Я думаю, это они оставили сообщение, чтобы мы к ним вышли навстречу.

– Сейчас, сейчас... – Витя встал со стула. Ветер Николая колыхал и трепал его тоже. Но если у Николая уже были кор-

ни, то у Вити корней не было, и казалось, что он вот-вот улетит вместе со своими ласковыми и неверными губами, тонкими руками и всем своим дрожащим телом. – Там недалеко лежит камень, как его...

– Песчаник, – подсказал Николай.

– ...ага, – повторил Витя, – песчаник. На нем две выемки есть – большая и маленькая. Камень находится в ущелье, и потому его можно разглядеть только с одного выступа, который образуется высоко над ним. Я туда залез и нашел еще один камень, похожий на каменный трон. А когда соскочил с него мох, под ним оказался рисунок – словно бы знак бесконечности, – тут Витя ненадолго затрясся, но вскоре перестал. – Потом я понял, что это не знак вечности, а пиявка, – сказал Витя.

– Богиня крови, – сказал Николай.

– А на том камне, что внизу, выдолблено углубление, и теперь все понятно.

– Чего тебе понятно? – лязгнул зубами Лева.

– Там убивали жертву, а кровь сливалась в нижнее углубление. А на верхнем камне с выдолбленной пиявкой сидел жрец. Пиявка же это – богиня. У какого-то народа богиня, например, Афродита, а у кого-то – пиявка. Или еще что.

– Что? – спросил Лева, но ему никто не стал отвечать. Минуту все молчали. Было слышно, как на кухне поет сверчок, а на улице подвывает никчемная собака.

...потому что самое интересное наступает значительно раньше, чем, скажем, профессор Воротников знакомится с этими разнообразными людьми где-то в ближних горах, куда он приехал в поисках пропавшей девочки. Если по этим горам ехать из города к дому, где происходит собрание Клуба, то сначала надо сесть в автобус на пяточке внизу, у моря, напротив здания железнодорожного вокзала.

Там, в магазинчиках, конечно же, продаются разнообразные вещи – от бритвенного помазка и отдельно мыла в тюбике до чашки кофе или ручной косилки, но автобус останавливается не там, а напротив памятника погибшим во время войны. Памятник расположен среди кипарисов, где горит вечный огонь, отсвечивая на боку пустой банки из-под тоника, когда она там есть.

Если из такой банки делать коктейль Молотова, то этодохлый номер, потому что она не разобьется, а только сплющится с хрустом под ногой. Но лучше всего бывает на платформе вокзала, откуда видно синее с живым солнечным серебром море и дальний сине-зеленый мыс с растущим на нем и наклоненным к волнам кедровым деревом, которое отсюда кажется крошечным. А самое лучшее здесь – разбег теплого ветра в лицо, блестящие и изогнутые вдоль берега рельсы и запах водорослей с пляжа.

Там, в море, ходят по коридорам и сквознякам разные корявые и колючие рыбы, впрочем, среди них есть и гладкие, как торпеды, сияющие и истекающие потоками мучительно прекрасного серебра и золота, и иногда даже кажется, что невозможно, чтобы после таких потоков от самой рыбы хоть что-то осталось, но она непостижно остается все той же, как будто в ней спрятаны вечные запасы этого самого драгоценного сияния.

Есть там и похожие на коряги рыбы, и плоские камбалы, а также сине-розово-серебряные окуни, которых раз увидеть – понять, зачем тебе даны глаза и зрение, потому что в этот момент с твоим телом тоже что-то творится, и оно внутри становится на время таким же, как этот бьющийся в огне и солнце между водорослей окунь с попавшей в него стрелой, похожий на факел.

Такой же факел зажигается внутри тела, а иногда горит так ярко, что проступает светом и красками даже на наружной стороне кожи, и тогда вечером где-нибудь в санаторской темной аллее с лиловыми и гуталиновыми тенями от кустов, куда даже не проникнуть какой-нибудь серебряной звездочке, твой лоб светится среди их густого мрака и освещает путь вместо фонаря.

Но вот автобус с нагретой крышей разворачивается, открывает со скрипом передние двери, и в него начинают влезать пожилые и морщинистые местные, девочки со жвачками и мобильниками в потных руках и курортники. Грузятся



все они толкаясь и молча отпихивая друг друга, потому что мест в автобусе мало, а ехать больше часа. Воротников не толкался, но в конце салона оказалось свободным изрезанное шkodливym ножом кресло, куда он и сел.

Теперь, входя в трудный оборот повествования, чтобы выразится пояcнее и поэнергичнее, заметим, что непонятно каким образом, но профессора, о котором идет речь, примостившегося сейчас у открытого стекла автобуса, что газует с подвывом на второй скорости, можно было, так сказать, ничтоже сумняшеся, воспринимать одновременно и как человека, и как, с другой стороны, дерево. Сейчас мы все поясним, почему такое произошло.

Пусть, например, дальше говорит его знакомая девушка, что ли ученица или просто почитательница его тихих даров, а она говорит так (забыл только, кому это она сказала, но сказала наверняка и даже покраснев от некоторой небольшой досады), что ничего тут нет странного, потому что он, профессор Воротников, невольно являет собой то сияние и то впечатление, которое ты сам по себе искал в своей жизни, но не нашел и даже не мог как следует сообразить, чего же, собственно, ты так безнадежно ищешь. Но однажды ведь желания исполняются, и ты встречаешь то, что встретить никак невозможно, кроме как только в самой мечте, и вот оно вдруг происходит. И не обязательно один профессор Воротников, но, наверное, и многие другие в какой-то момент могут расширяться своим телом и душой так, что из тела и ду-

ши постепенно произрастают деревья, голуби и дороги, и то самое сияние, что так необходимо ищущему его всю жизнь человеку. И видно, как они возникают в незнакомце и увеличиваются вместе с облаками, а ночью – со звездами, похожими на большие оловянные репейники.

Данте говорит, что само бытие есть сравнение, а вернее, не Данте, а один поэт говорит про Данте. Но словами сравнивать всегда долго, и часто все получается искусственно, если ты не такой поэт, как Данте или тот, который про него написал, – а вот глазами и мыслями можно сразу увидеть, как сравнение происходит наяву, и даже продолжается в единство с самим человеком – профессором Воротниковым, например, но это необязательно. Я сама несколько раз слышала, как из куста на его плече пел дрозд. Не тот дрозд, который в морозный зимний день в Стрешневском парке среди заснеженных ветвей раздувается в сплошную пушистую подушку, склевывая ягоды рябины и не сводя при этом с тебя глаз, а другой – певчий, которого я слышала как-то весной в Симеизе. И я не удивилась, потому что для удивления нужно что-то необычное или внезапное, а тут все было так, как и должно происходить.

Поэтому – это уже говорит не влюбленная в профессора девочка, а я сам – если профессора и можно было иногда принять за белого голубя, то этому никто не удивлялся. Ведь не зря же иногда говоришь своей жене в минуту просветления – голубка ты моя, при этом догадываясь про то, сколь-

ко ты ей сделал ненужного и лишнего за все эти годы и не сделал основного и главного, например, не додал ей ласки и других необходимых вещей, ну и так далее. И при этом видишь не жену, а, действительно, нежную голубку. Или, может, наоборот – сначала видишь вместо жены голубку, а потом уже догадываешься. Или один человек говорит другому, что он бурундук, и долго сам в это верит, как никто. Ну и так далее.

Автобус тем временем пересек автостраду и, мучительно подвывая, стал взбираться по крутой дороге, миновав справа бензоколонку с бетонированной стенкой, покрытой выющими паразитами, а слева ржавый заброшенный мост, сквозь который проросли кусты и деревья. Мост висит над широким пересохшим руслом речки в белых на солнце булыжниках, а вода позванивает лишь в узких протоках посередине, но все равно в ней живут рыбы и по ночам пучат круглые глаза на луну. А днем тут полно черных бездомных собак, что валяются как попало на камнях набережной возле бетонной стенки, на которую мочатся все, кому не лень, но собаки все равно любят это место, хоть и неизвестно, за что.

Рядом с профессором села бабушка, загорелая абхазка в длинном синем платье с рисунком каких-то жалких рыбешек или ягод и с корзинкой на коленях. Он нее сильно пахло потом и селедкой, но потом пахло от нее, а селедкой от покупок, которые лежали в корзинке. Лицо ее было похоже на сильно мятую коричневую оберточную бумагу, а рисунок губ

стерся почти что совсем. Белки ее глаз тоже стали светло-коричневыми от долгого срока жизни, а ресницы – редкими. И когда она вдыхала полной грудью, то все равно оставалась такой же мелкой, высохшей от тяжелой жизни старушонкой, как и тогда, когда она выдыхала весь воздух, который ей удавалось выдохнуть. Она знала, что скоро выдохнет его раз и навсегда, или, точнее говоря, насовсем, но часто забывала об этом, потому что привыкла к этой мысли и даже иногда ей радовалась.

Профессор вошел в дом, когда Николай рассказывал про пиявку, и, когда он закончил, Савва представил гостя из Москвы.

– Друзья, пропала дочь моего ближайшего друга, – сказал Воротников. – И Савва посоветовал мне обратиться к вам за помощью.

Эрик уставился на профессора и узнал в нем того субъекта с собачьей улыбкой, что совсем недавно кормил бобика на ступеньках продуктового магазина.

– Ее зовут Офелия, – сказал Савва из угла, – гы!

Эрик, услышав заветное имя, вздрогнул.

Савва помолчал, дергая кадыком и глотая. Потом наморщился, длинная судорога пробежала через его горло, но он, давась воздухом, все же проглотил то, что ему мешало, задышал неожиданно часто и улыбнулся.

– Простите, я не нарочно сказал «гы!», – сказал Савва. – Это у меня бывает, когда подступает сильное напряжение. И если я не скажу «гы», то могу даже на какое-то время ослепнуть. Поэтому не обращайтесь, пожалуйста, на это слово внимание, даже если я еще несколько раз его скажу.

Лицо Саввы стало прекрасным и светлым, а на лбу его замерцал пот, словно ледышки под фонарем. Он кашлянул, втянул с шумом воздух через ноздри и добавил:

– Приехала сюда пожить и пропала. Вот ведь! А профессор хочет ее разыскать.

– Да, разыскать, – сказал профессор, – и мне нужна ваша помощь. – Тут он снова улыбнулся своей жалкой собачьей улыбкой, и Эрику показалось, что гость сейчас залает, но не басовито и раскатисто, как какой-нибудь породистый пес-доберман, вышедший на прогулку с хозяином в хороших джинсах, – а залает мелко, визгливо, забрешет так, что самому сделается неловко и страшно от вяканья, какое издает только щенок, что собакой еще не стал, а суматошно частит по улице так, что задние ноги его все время наступают на пятки передним.

– Офелия – хрупкая девушка, – сказал профессор.

– Хрупкая, – сказал Савва и засипел.

– Да, – сказал Воротников, – очень.

– Очень, – сказал Савва. – Совсем девочка.

– Да, – отозвался профессор.

Сейчас заплачет, – подумал Эрик, – сейчас. Но профессор не заплакал, а продолжил:

– Она очень любит музыку и книги. В этом все дело.

– Почему, – спросил Эрик. – Почему все дело в музыке и книгах?

Но профессор не успел ответить, потому что из коридора раздался грохот, словно упал таз, потом крик, и на порог вбежала бледная Марина.

– Лева повесился, – крикнула она профессору в лицо.

– Где повесился, где? – закричал Савва и выбежал в коридор.

В кладовке рядом с сорвавшимся со стены корытом на полу лежал Лева с обрывком бельевой веревки на шее, похожий то ли на овцу, то ли на крокодила, потому что рот у него был раскрыт так широко, как будто бы он собирался откусить невообразимо большой кусок бог весть от чего, но не смог, а с губ текла слюна и какая-то дрянь, вроде сукровицы.

– Лева, встань! – сказал Савва.

Но Лева продолжал лежать и слабиться, словно поломанная кукла, у которой лопнула пружина, и от этого она больше не хочет жить и посмеивается. Лицо у него было бледное и страшное, а глаза навывкате, можно сказать, что это было вовсе и не Левино лицо, а другого человека.

– Лева, вставай, – повторил Савва, – я же вижу, что ты живой, потому что у тебя щека дергается.

– Да не напирайте же, – обернулся тут Савва ко всем остальным членам Клуба, сгрудившимся у него за спиной. – Ты как, Лева, не повредился?

– Нет, – сглотнул Лева и лязгнул зубами, – я не повредился. Вот только локоть рассадил об это корыто. А я и не видел, Савва, что у тебя на груди голая тетка, – добавил он, и глаза его стали оживать, превращаясь из белых и плоских в серые и печальные.

– Это я с тоски наколол, – признался Савва. – Когда бой проиграл Рою Джонсу по очкам. Я бы его сделал, да судья

подсуживал, засранец. Он хороший малый, потом ко мне в раздевалку заходил, руку жал. Только я не помню, то ли он заходил, то ли еще кто, но руку жал, это я хорошо помню.

– Морда у него белая была или черная? – спросил Лева.

– Вроде черная, – сказал Савва. – А я знаю? Я тогда расстроился, пошел в салон тату и сделал эту летучую мышь на грудь. Три часа сидел, пока он меня накалывал. Маленький какой-то, захудалый, как не свой. В Америке дело было, не помню, как улица называется, – океан там.

– Бабу, – сказал Лева и взвизгнул на вдохе. – Бабу ты сделал, а не мышь. У тебя, Савва, все мозги отбиты. Ты себе на грудь глянь.

– Да, наверное, бабу, – согласился Савва. – А у тебя, Лева, шишка на лбу. Только сейчас разглядел.

Савва подошел к Лева и стал поднимать его на ноги, но Лева никак не мог сделать так, чтобы его ноги выпрямились и уперлись в пол, а наоборот, все время их подворачивал и передергивал.

– Ты, Лева, вспомни, как мы на Красном Штурме утром купались, – посоветовал Савва. – Помнишь, на электричке приехали, спустились с насыпи, а там вода такая голубая и зеленая, просвечивает насквозь, и видно водоросли и камни. И еще на камнях крабы сидят и греются.

– Я все помню, – сказал Лева и заплакал. И от этого ноги его окрепли и стали его держать. – Ты там нырнул в голубую бездну, – сказал, дрожа, Лева. – Только ты ботинок забыл



снять с одной ноги.

– Ты зачем вешался, Лева? – спросил Николай-музыкант. – Ты чего, совсем с ума сошел?

– Чтобы изменить свои мысли и чтобы снова *быть*, – сказал Лева твердым голосом. – Потому что если не отдать свою жизнь всю до конца, то так и будешь бледной тенью и не сможешь *быть*. Чтобы *быть*, нужно отдавать жизнь.

– Правильно, – сказал Савва, – я тоже так думаю. – Вот когда из отключки поднимаешься с ринга, так сразу крепнешь, и жизнь начинается заново. Я три боя выиграл после отключки, а никто не верил, что такое возможно. Потому что в отключке есть своя живая вода. Не знаю, где она там течет, но иногда вспоминаю форму русла – оно такое, как ручей – серебристое и звенит.

Савва взял Леву под руку, и тот, переступая ногами, вышел с ним во двор, под виноград и звезды. Там они сели на лавочку, и Савва погладил Леву по голове.

– Не делай так больше, ладно? – сказал Савва. – Обещаешь?

– Не... – сказал Лева, – не...

– Ну и ладно, – сказал Савва, – может, у тебя путь такой, особый. Слушай, Лева, может, ты хочешь чаю, я сейчас тебе принесу.

– Хочу, – сказал Лева. – Только я не чаю хочу, а знания.

– Чего же ты хотел узнать? – наклонился к нему Савва и добавил: – Дай-ка я веревку с тебя сниму, а то некрасиво

как-то.

– Я хочу знать, зачем мы не отличаем себя от плохих мыслей, – сказал Лева. – И еще: когда шакалы кричат, почему они так похожи на пьяных девчонок, а? Может, с ними пьяные девчонки ходят, как ты думаешь?

– Может, и ходят, – сказал Савва. – Пропала наша девочка, слышал? Офелию похитили.

– Я знаю, кто ее похитил, – сказал Лева. – Знаю.

– Как бы ее не убили, – ответил Савва, – так что ты лучше скажи, кто это сделал.

– Сейчас, – сказал Лева, – сейчас. Вот только понимаешь, – он посмотрел на темное небо в хворосте звезд и дрожащих лучей, – понимаешь, Савва, меня мама неправильно родила, не по любви. Но ведь моя звезда все равно входит во все остальные.

Меня вот Марина все спрашивает – давай гороскоп тебе сделаем, а зачем мне гороскоп, если все дело в воле и подозрении.

– Каком подозрении?

– Подозрении, что у тебя есть своя звезда и никто тебе не мешает быть бессмертным, а если и мешает, как тот настройщик, то все равно у меня есть сила и звезда.

– Что за настройщик?

– К маме ходил. Рояль настраивал. Тяжелый такой рояль. Бок блестит, а клавиши с боков пожелтели. Я на нем занимался.

– Поиграешь как-нибудь? – спросил Савва. – Шютца. Я Шютца люблю, Лева.

– Поиграю, – сказал Лева. – Только я Шютца не очень. Хочешь, я тебе Моцарта поиграю?

– Не, – сказал Савва, – мне бы Шютца. Я его один раз слышал и сильно запал. Я так чувствую, что навсегда.

– Ладно, – сказал Лева, – ты меня уговорил, Савва, только ноты надо найти.

Тут цикады запели с такой силой, что казалось, будто во всех кустах и деревьях закрутились серебряные колесики, и лишь иногда в их монотонный звон вклинивалась какая-то ерунда и произносила ужасным голосом: Уху! Уху! – так, что холодело в животе и возникали разные мысли. Но потом она замолкала, и цикады продолжали пение как ни в чем не бывало, хотя, может, это были и не цикады, а какие-нибудь обыкновенные кузнечики.

А вот уже звезды сильнее зажглись, а вот уже и сместились. И та Медведица, что стояла над домом, теперь уже висит над далекими горами, словно бы еще ярче разгоревшись и посвежев. Как будто ее звезды теперь уже не из латуни, как раньше, а сделаны словно бы из хрусталя. Так вот иногда бывает, что выходит человек на улицу, и очки у него сразу запотевают от холодного воздуха, и от этого он сначала плохо видит – все у него словно бы в тумане; но вот стекло охлаждается, становится прозрачным, и тогда весь мир является ему в подлинности и холодке – отчетливый, ясный, с синими звездами, и в таком мире хочется жить и бежать все дальше по улице, подпрыгивая и притоптывая ногами.

Профессор стоял у окна и смотрел в темноту на Медведицу, когда в дверь постучали. Воротников пошел на стук и, щелкая замками наугад, открыл дверь, за которой стоял Эрик.

– Позвольте, – сказал Эрик. – Позвольте пройти. Мне надо с вами поговорить.

– Проходите, – сказал Воротников и провел гостя в комнату, где накануне было столько народу. Савва предложил профессору занять комнату в доме, и тот согласился.

– Присаживайтесь, – сказал Воротников, пододвинув Эрику стул.

– Вы думаете, что теперь уже слишком поздно, и я совершенно с вами согласен, – сказал Эрик. – Да, согласен. Но разговор, видите ли, не терпит...

– Да вы говорите, – сказал профессор, садясь на стул напротив Эрика и смотря на него своими жалкими и виноватыми глазами. – Говорите.

– Я, возможно, не то скажу, – начал Эрик, – вот у меня куклы. Как вы думаете, откуда они?

– Куклы?

– Разумеется. Японские куклы. Разумеется, из Японии. И вы думаете, что в нас нет пустоты, как в них, что это в куклах, запакованных в бандероль, то есть в посылку, может находиться своя собственная пустота, а у нас ее быть не может, пусть даже нас никто и не запаковывал в бандероль.

– Так-так, – сказал профессор. – Так-так...

– Вот и я говорю, – горячо зашептал Эрик, – и я говорю. Потому что – одиночество, оно ведь и есть пустота. И дело не в куклах, конечно, а в том, кто рядом. А если рядом – никого? Ну, совсем ни одной собаки, чтоб могла тебя понять, когда ты ей говоришь не для общего употребления, а единственное и душевное. То есть простите меня за этот возвышенный слог, все это ерунда.

Эрик внимательно поглядел на профессора и быстро облизал губы.

– Я вижу, вы меня понимаете, – быстро проговорил он и слегка присвистнул. – Простите, это я невольно. Это у меня с

университета невольная привычка. Я когда говорю с незнакомым человеком и волнуюсь, у меня с губ срывается свист, как у птицы. Я в детстве подражал некоторым птицам, вот у меня так и осталось, – пояснил Эрик. – Одно время совсем было прошло, но здесь снова начал свистеть, так уж сложилось.

Он сокрушенно помотал головой, словно выпил очень крепкой водки без закуски.

– Дело тут вот в чем. Я испытываю к вам доверие. Не знаю, почему, вероятно, потому что вы девочку пришли искать. Ее надо найти, ее обязательно, срочно, безотлагательно, теперь же надо найти, умоляю вас.

Тут он вцепился профессору в рукав рубашки и стал тянуть его на себя, пока рукав не затрещал и не разъехался.

– Извините, – сказал Эрик и снова свистнул. – Простите, я вам уже объяснил про свист, что он от птиц, вернее, от подражания птицам, поэтому мы больше про него не будем говорить. Простите за рубашку. Хорошая рубашка. Из Пакистана? У меня была такая же рубашка, и я ее очень любил. Я знаю про нее, знаю. Немножко только надо зашить и снова будет как новая. А Лева известно, где она, – сказал он. – То есть Офелия, да. Мы завтра же отправимся на поиски, завтра же. Хотя Лева мог и сочинить, сами понимаете, с собой не в ладу человек, но он не всегда же сочиняет. А иногда так и говорит неожиданную правду. Вот и сейчас я хочу сказать вам, профессор, одну неожиданную правду, и пусть вы меня

сочтете за невежу, но я все равно вам ее открою.

– Вам не бывало так, – продолжил Эрик, глядя в угол комнаты, где стояли горные ботинки, – что весь мир словно бы налип на внешний слой вашей кожи, словно рыба-прилипла или ракушка рапаны какая-нибудь? Вы видели ракушку рапаны? Она буквально облеплена ороговевшими образованиями минералов, да. Чего там на ней только нет! А между тем, ежели ее интенсивно потереть о гальку, то через 20 минут она возьмет и засияет вам своим первозданным цветом, как новенькая. Поразительно, правда?

Профессор кивнул головой, не отрываясь глядя на Эрика. Губы его шевелились, как будто он тихо повторял Эрику одно и то же слово, но Эрик не слышал.

Он задумался и продолжил.

– Вот так и я. Я очень одинок.

Он оживился.

– Я словно часто-часто посылаю в мир свой глубокий сигнал, но меня не слышат. А я его посылаю, да! Я посылаю его, – взвизгнул Эрик. – Я посылаю его, даже когда я, например, вымажусь в чем-нибудь непотребном, в какой-нибудь пакости, даже когда я ем селедку или, например, очень устал или убит разочарованием, и тогда рву подушку зубами. Я все равно его посылаю.

– Сигнал?

– Я не могу его не посылать, – зашелся Эрик, присвистывая, – потому что я тогда забуду, кто я такой, а я не должен

этого забывать, потому что иначе все будет кончено. Я здесь не просто так, – вскричал он высоким голосом. Я в этом поселке не потому, что я не мог бы жить в Москве или в Сан-Франциско, куда меня приглашали, не потому! Но нет! Я посылаю его и вплетаю в ткань мироздания и великого действия, *magnum opus* – свой единственный голос, на котором держатся миллионы, миллиарды других голосов, и ежели только его, этот голос, выдернуть вместе со мной из ткани – слышите, вместе со мной, таким как я сегодня есть, из ткани – и неважно, откуда и куда прислали куклы и про штрафы, и про поклепы, и про Марину тоже, и если вам скажут, не верьте! – если только выдернуть меня, то все построение из величайших мелодий, из небывалых слов, из несравненных вершин еще невнятной миру поэзии, ее восходов и закатов – все будет погублено!

Тут Эрик внезапно упал на пол лицом вниз, но не ударился, а засмеялся и стал отжиматься от пола, не сводя глаз с профессора.

– Я, кажется, понимаю, о чем вы, – тихо сказал Воротников. – Я сам часто об этом думал, но давно уже, в молодости.

– А сейчас вы уже не думаете? – спрашивал Эрик с натугой, продолжая отрывать тело от пола. – Не думаете?

– А сейчас стараюсь не думать.

– Ага! Я так и знал, я так и знал! – захохотал Эрик. – Что ж, значит я не ошибся, придя к вам. Значит, я пришел к нужному человеку.



Он вытянул руки вдоль тела и теперь лежал на полу, лицом вниз и глубоко дыша. Потом затих, и могло показаться, что в комнате его больше нет. Так иногда бьется на траве рыба, снятая с крючка, вздрагивает хвостом, обливается серебром чешуи, а потом тихо застывает, и даже жабры ее перестают двигаться. Только поют птицы, и продолжают скакать кузнечики.

– Я расшифровал послание убыхов, – глухо сказал Эрик в ворс ковра.

Профессор Воротников посмотрел на его затылок, потому что могло показаться, что Эрик разговаривает сейчас затылком, но не из-за того, что он обладал даром чревовещания, а потому что затылок его был самым убедительным местом во всем его теле, а лица не было видно совсем.

– Ту запись, о которой говорил Николай, помните? Со словами на птичьем языке. Так вот, я ее расшифровал. Да, я это сделал.

– И что же это за язык? – спросил Воротников.

– Язык этот убыхский, – глухо сказал Эрик в ковер, закашлялся и плюнул в сторону. Потом снова уткнул лицо в ковер.

– Вы знаете убыхский язык? – воскликнул профессор.

– Да, знаю, – веско произнес Эрик.

Теперь он сидел на ковре и пытался сдержать кашель, и от этого прекрасное, несмотря на пыль с ковра, лицо его было стало отсутствующим и слегка идиотическим, как это случается порой у очень красивых женщин.

– А я-то думал...

– Два самых ценных исследования о языке убыхов оставили Евлия Челеби в рукописи XVII века и немец Адольф Дирр, лингвист, – начал было Эрик, но тут его пробил силь-

ный приступ кашля, от которого он согнулся, скорчившись вдвое и почти рыдая в голос. – Простите....

Однако, откашлявшись и раскрасневшись, он продолжил совершенно ровным тоном: Именно Дирр, отчаявшись в начале XX века найти остатки исчезнувшего убыхского фольклора, все же в конце концов записал одну их легенду. И, как ни странно, эта легенда оказалась – о языке.

– Очень интересно, – пробормотал Воротников.

– На Востоке, где встает солнце, – сказал Эрик, – было государство. Это уже легенда началась, – пояснил он, диковато блеснув белком одного глаза. – Государством правил могучий и умный шах. При нем был проницательный и умный писатель, интересовавшийся самыми неожиданными науками. Однажды шах отправил этого писателя изучать языки. Через много лет тот возвратился из странствий с мешком за плечами, одетый в дорогие шелковые и бархатные одежды. Он поклонился шаху и произнес: «Я изучил все языки – арабский, армянский, греческий, немецкий и все остальные».

И словно бы тень печали легла на его лицо.

«Прекрасно! – сказал шах. – А что у тебя на спине?»

«Это один из языков. Мне не удалось постичь его в совершенстве, потому что я еще не нашел к нему подхода».

Он снял со спины свой мешок и вытряхнул на персидский ковер его содержимое. Это были камни.

«Что это?» – спросил шах.

«Это убыхский язык», – ответил писатель.

Эрик помолчал. Потом продолжил:

– Остальными сведениями по убыхскому языку мы обязаны Дюмезилю и Фогту. В 1958 году они разыскали в Турции, на южном побережье Мраморного моря, в деревне Тепеджиккой и близлежащих селениях последние двадцать убыхов, все еще владевших своим языком, и записали их рассказы. Был составлен небольшой словарь убыхских слов, собранных ранее, и осуществлена фиксация произношения. Язык убыхов состоял в основном из односложных и двусложных слов с преобладанием губно-губных звуков: пти, птс, пц, пь, ф, ть – придававших звучанию схожесть с птичьим щебетом.

– Я вижу, вы в теме, – сказал Воротников. – Вы, вероятно, нашли этот словарь языка убыхов с транскрипцией.

– Нет, – сказал Эрик, – дело не в том.

Теперь он сидел на ковре неподвижно и был похож на вытесанную из одного куска камня мраморную бабу, которую профессор как-то видел в Асканийских степях.

– Я нашел не словарь, – тихо продолжил Эрик. – Я нашел мешок с камнями. Тот самый, что писатель принес шаху.

– Но ведь... – начал было Воротников.

– Не спрашивайте! Не спрашивайте меня ни о чем, – загорячился Эрик. – Просто поверьте, что убыхский язык – это действительно камни и птицы. Не в смысле, так сказать, образных украшений легенды, а в самом, так сказать, прямом смысле этого слова. Птицы и камни!

– Птицы и камни, – сказал Воротников, – птицы и камни. Я, впрочем, понимаю. Я кажется, впрочем, сейчас пойму до конца. Но ведь это... – он не закончил. – И что же вам удалось понять из послания с гор? – спросил Воротников, и Эрик увидел, что он готов улыбнуться своей жалкой улыбкой, и поэтому заторопился. От этой улыбки душа Эрика словно переворачивалась, и в ней начинали появляться забытые или полузабытые с детства чувства, и от этого по телу бежали мурашки, словно бы по щекам слезы. И он продолжил:

– Голос, записавшийся на магнитофонной пленке, говорит буквально вот что. Однажды жрец убыхов во время совершения жертвоприношения в священной роще услышал голос духа. Дух сказал жрецу, что в следующем месяце на гору А. под дерево Гамшхут придет сын бога Уашхвы – Цсбе. И что это будет Бог, спасающий языки, камни, людей зверей и все вселенные, какие они только есть. С их ангелами, рыбами и деревьями. И что каждый звук будет выправлен, а взгляд просветлен. И что боль и смерть уйдут из миров, если только племя поднимется к дереву Гамшхут и узнает своего Гостя. Но жрец не поверил посланию. – Кто мы такие? – решил он. – Что мы можем? Мы всего лишь охотники и пираты. Это голос демона, который хочет нас погубить, развеять наше племя и наш народ по свету. И жрец ничего не сказал своему народу. А через двести лет последний убых исчез с лица земли, ибо они побоялись выйти навстречу неизвест-

ному и утратили то, что имели. И во второй раз, спустя 270 лет прозвучал голос – пусть другие люди придут под дерево Гамшхут встретить спасителя Цсбе, потому что если люди опять не придут, значит им не нужно спасение ни себя самих, ни рыб, ни деревьев, ни всех миров и вселенных. Вот мы передали вам это.

– На этом, – сказал Эрик, – запись оборвалась. Просто именно в этот момент кончилась пленка. Наверное, там были еще какие-то слова.

– Оборвалась... И что вы думаете по этому поводу? – спросил Эриха профессор.

– А то, что все, черт бы их взял, у них ненадежное. То рвется, то останавливается.

– Я не про то, – сказал Воротников, – я про содержимое послания.

– А то, – сказал Эрик, – что завтра же я отправляюсь на поиск этого места.

– Зачем? Хотите спасти людей? – едва заметно улыбнулся профессор.

– Плевал я на людей, – взвился вдруг Эрик. – Плевал! Что они мне сделали, ваши люди? Что они вообще хорошего сделали? Смрадное, подлое, лягушачье племя, лгущее без остановки, похотливое, жадное. – Он стоял посреди комнаты и даже лягался ногой от злобы. – Вся беда, впрочем, не в том, что они скоты, – Эрик подбежал к окошку и стал дергать раму за ручку, – а в том, что они – гниль!!

Мутное окно, звякнув, распахнулось, и Эрик, высунувшись наружу чуть ли не по пояс, начал плевать и вскрикивать.

– Гниль, гниль, гниль! – кричал он в сторону побережья, отсюда не видимого, – гниль! Ненавижу!

Потом он аккуратно закрыл створку, вернулся и сел в кресло напротив профессора.

– Тогда в чем же дело? – снова спросил Воротников и досадливо сморщился.

– А в том, – вдруг засмеялся светлым смехом Эрик, – что есть одно существо. И я не хотел бы, чтобы с ним хоть что-то случилось.

– А, – серьезно сказал профессор.

Он так и сказал: – А!

И Эрик, услышав этот ответ, совсем было собрался броситься ему на шею, но отчего-то не стал этого делать. Он встал и тихо вышел из комнаты.

В мире существует много загадок и всего одна луна. А также много отгадок, но всегда один человек, который отгадки лишен и вечно вас озадачивает. Иногда мы не узнаем винограда или другого лица, так уж мы устроены. Всегда есть то, что мы не узнаем, ну, пусть так и будет. Вот ученики не узнали, например, воскресшего Христа, а потом узнали. То, что они его не узнавали, кто он такой, пока он был жив – тоже факт. Вот и мы не узнаем ни друзей, ни температуры за окном, ни животных. Самих себя мы тоже не узнаем, и иногда нас это мучит, а иногда не очень.

Савву это мучило сначала сильно, а потом, как только он потерял память, почти перестало.

После того как он потерял память, он ее иногда снова терял совсем, а иногда что-то оставалось, похожее на полет бабочки, особенно когда она ныряет вниз и словно пропадает из виду, а остается какой-нибудь один цветок на фоне синего неба или вдруг непонятное лицо, и не поймешь – то ли мужское, а то ли женское.

Однажды Савва спросил профессора – откуда в мире страдания?

Он спросил, потому что ночью ему снился ужас, произошедший с любимым человеком, которого Савва не мог вспомнить, но все равно знал, что он любимый, потому что



не мог оторвать своей любви от этого человека и ясно понимал, что он его любит очень сильно, сильнее даже, чем самого себя, когда был маленьким, и он спросил Воротникова, откуда на земле взялся весь этот ужас, потому что того человека рвали волки, а Савва во сне мог только плакать и ничего не мог сделать.

Тогда Воротников сказал ему: задай этот вопрос не мне. — А почему, спросил Савва. Потому, сказал профессор, что ответ на этот вопрос на словах невозможен. Но он все же возможен, если от слов отказаться. А кому, спросил Савва, мне его задать? Задай его цветку, сказал Воротников, или камню и слушай. Хорошо, сказал Савва и пошел в сад своего дома. Там он сел рядом с хризантемой и спросил: скажи, откуда на земле такое, что моего лучшего друга разорвали волки, а люди ненавидят себя, моря и дельфинов, и других людей? Он спросил и стал слушать. Уже всходила луна, а света в окне на огород не было, и постепенно, когда глаза привыкли, все вокруг стало призрачным, словно тихо светящимся. Савва сидел на земле и ждал. Он был похож на курицу, которая собралась снести яйцо, или на женщину папуаску, которые рожают сидя, Савва один раз видел, но он этого не понимал, потому что все время смотрел на цветок. Цветок, на который смотрел Савва, не давался зрению и куда-то все время ускользал, словно бы ему не нравился Саввин взгляд, и он плавал по краям зрения, а иногда возвращался назад, но тут же ускользал снова.

Но вдруг Савва понял, что цветок стал разгораться и светиться, а он, Савва, словно уменьшаться в росте. Они сидели рядом и глядели друг на друга, и когда Савве казалось, что это цветок глядит на него, то он ясно видел цветок, а когда цветок думал, что на него смотрит Савва, то он ясно видел Савву. Потом Савва увидел, что они с цветком никогда не были разными, а все время были одним и тем же. Не то чтобы в сидящем на *земле* Савве был цветок, хотя, конечно же, он и был Саввой, как была Саввой его мать, когда его носила, но Савва знал, что они так всегда сидели, еще до того, как возникла земля, ангелы и серафимы. И что если бы Савва с цветком не смотрели бы друг на дружку, то не возникла бы земля, ангелы и серафимы, и ничего бы не возникло. И пока они так сидят и смотрят друг на друга, ничего не может никуда пропасть, потому что пропадать никому некуда, пока они так вот сидят в призрачной луне и смотрят один на другого.

Когда потом Савва встретил профессора, он сказал ему: я спросил у цветка. Профессор посмотрел на него внимательно и улыбнулся. Что он тебе ответил? – спросил он. – Мы вместе ответили, сказал Савва, потому что нас не было по отдельности. Мы ответили вместе, потому что как можно ответить по отдельности или самому одному цветку, когда у нас стал один рот и одни губы. Ответа даже и не надо было вообще, сказал Савва, потому что зачем он, ответ? – Ты же хотел узнать, почему твоего друга разорвали волки во сне. –

Это не во сне, сказал Савва. — И я очень хотел узнать и я узнал. Я понял, что мы с цветком и есть сами по себе ответ на этот вопрос, и ничего другого тут больше нет.

Тут профессор стал смеяться, и почему-то Савва словно узнавал его все больше и больше, пока не увидел, что профессор тоже стал неотличим от цветка, с которым они разговаривали ночью, и от этого Савве стало хорошо, и он попытался было обнять профессора, но постеснялся.

А сейчас Савва сидит на лавочке и смотрит в сторону моря. К нему подходит Лева и говорит: я тоже с ними пойду, Савва. — И правильно, говорит Савва, пойдем. — А ты тоже идешь? — спрашивает Лева. И когда Савва кивает головой, Лева говорит: как же я рад, что ты идешь с нами, как же я рад, Савва, потому что тебе не надо оставаться одному, а Медея тоже пойдет с тобой?

— Я еще ее не спрашивал, — задумывается Савва, — но, наверное, она не откажется. Потому что куда нам еще идти. Вот и пойдем вместе.

Солнце встает выше, и если посмотреть в сторону моря, то самого моря почти что и не видно за горами. Но если смотреть дольше и внимательно вглядываться, то можно увидеть на короткую минуту его нестерпимый, глубокий блеск между двух горных вершин, оттуда, где меньше всего ждешь. О чем он говорит тебе, — ты не знаешь, однако, что была бы твоя жизнь, если бы однажды, когда совсем уже ничего не ждешь или очень устал, а то и хочется забыться и отчаять-

ся от неудач и обид, если бы в этот миг не блеснул бы тебе влажный синий луч прямо в глаза, оживляя их изнутри своим нестерпимым блеском. И, может быть, через миг он опять пропадет, скроется в синей дымке ущелья, и уже не видно будет ни блеска, ни даже морского горизонта с белым корабликом на нем, и все снова подернется серостью и туманом, – но нет, не все. Уже зашел этот луч в твои глаза, словно добежав от какой-то дальней звезды, про которую ты еще не знал, что она твоя, и ты под ней родился для свершений и невозможного, а она тебе послана в этом сестрой и помощником, – уже зашел в глаза луч, и ты уже не такой, как прежде, и готов даже слушать новую музыку и трогать новые ветки, и женские лица, и камни – осторожно, почти не дыша, почти задохнувшись от внимания к необыкновенному их явлению на свете.

Вот так он пришел, оживил и потом пропал. А теперь ты сам идешь дальше и тычешься в листву и стены, и светишь на них, а в конце жизни кажется, что пропадешь, будто бы попал в закат. Но ты не пропадаешь, а уходишь на время за горизонт, чтобы однажды, выйдя оттуда, блеснуть кому-то другому новым лучом, которым ты сам стал – сверкнуть издали в глаза и в лоб, и зажечь их, и оживить, и открыть заново для другого зренья и неожиданных постижений.

– Эк ведь распогодилось, – сказал Николай, расчехляя трубу.

– Теперь уже дождей не будет, – ответил Витя. Потом за-

лез в багажник и достал оттуда саксофон. Он подержал его в руках, подумал и слегка дунул в воздух. Воздух принял Витино дыхание, чуть-чуть отозвавшись шорохом.

– Вот, – сказал Витя, – вот! Вот так надо играть. То самое! И он снова дунул в воздух.

– На кой он вообще нужен, этот сакс? У Паркера своего не было. Он свой все время терял – то в метро нахер забудет, то в гостях. Так вот и надо жить.

– Паркер помер, когда мультики смотрел по телевизору, – сказал Николай.

– Ага, легкая смерть, хорошая, – отозвался Витя, рассматривая клапаны инструмента. – А мог ведь загнуться и на бабе. Или еще где.

– Ты не врубаешься, Витя, – сказал Николай. – Смерть от любви – лучшая смерть на свете.

– Не думаю, – сказал Витя, – не думаю.

– Ты просто женщин не понимаешь, – сказал Николай. – Они от тебя уходят.

– Не думаю, что ты прав, – сказал Витя.

– Почему это я не прав?

– Потому что они и от тебя уходят, – сказал Витя.

– Правильно, – сказал Николай, – они от всех уходят, – даже от миллионеров. Потому что ничего не понимают.

– А кто понимает? – спросил Витя.

– Рафаэль понял, – сказал Николай. – Понял и умер на женщине, которую любил.

– И что? В чем тут заслуга?

– Это не заслуга, Витя, это – судьба.

Витя подумал.

– Не, – сказал он, – умирать надо не на женщине, умирать надо в воздухе.

И он снова дунул в пространство, и оно отозвалось нежным звуком на весь сад.

– Понял? – спросил Витя и торжествующе посмотрел на Николая.

Тот молчал. Видно было, что он вспоминал что-то свое. Потом тоже дунул в воздух, и тот тоже отозвался, но не как у Вити, а словно бы с серебряной печалью. Николай вздохнул, и белые его рога и наросты зашевелились. Словно бы лось, который в нем жил, напрягся и решил выйти из него, оставив человека пустым и одиноким, но потом передумал и вернулся.

– Все же музыка лучше женщин, – наконец отозвался Николай.

– Ну! – сказал Витя. – Ну!

Через час отряд выступил из сада. Савва пропустил всех на улицу, тоже вышел, оглянулся на дом и запер металлическую калитку.

Впереди шли, играя «Караван», Витя и Николай, за ними шагали профессор, Эрик и Медея, а за ними Лева. За спиной у Эрика был большой рюкзак, а Медея несла в руках флаг, который нашла в доме, в комнате, где были свалены рюкзаки и ватники.

Так ведь случается, что два или три человека могут стать главными не только в своей или чужой жизни, но и во всем окружающем просторе. Не знаю, отчего это происходит. Иногда мне кажется, что это происходит от музыки, которая способна огромным серебряным шаром окутать человека или даже нескольких человек, особенно если их движения совпадают с музыкой так сильно, что та начинает к ним подстраиваться своей мелодией и расширяющейся до гор и горизонта шарообразностью, которая больше, чем мысль или одежда.

Вот потому они кажутся какими-то великанами, словно бы засыпанными металлическими розами, тяжелыми и неопасными, поблескивающими тускло в воздухе. А может, они и правда великаны, как и все мы тоже в какие-то времена своей жизни, особенно когда музыка входит на нашу палубу,

как она вошла к Периклу, потому что тот все никак не понимал, что видит дочь, которую десять лет искал, и без музыки так бы и не понял. Вот чудак, она перед ним, а ему все кажется, что это просто молодая девушка у него на корабле. Но тут заиграла небесная музыка, но ее никто из свиты Перикла не слышит – слышит он один. И он спрашивает, откуда эти божественные звуки, с какого неба пришли, а все говорят – какие звуки? А что делать, если они действительно музыки не могут слышать, а он слышит. Так ведь всегда и бывает.

Есть один чудак, который слышит музыку в себе и вокруг, а остальные не слышат, и думают, что он спятил, как, например, вот эти вот люди, Витя и Николай, что спускаются сейчас по разбитому асфальту в сторону магазина, – а ни он, ни Витя, ни Николай вовсе не спятили. Просто с ними музыка сейчас говорит, а с водилой у магазина, что смотрит на них с интересом, не говорит. И с тетками у магазина она пока что не говорит и, может, никогда и не заговорит, что будет жаль, а с ними она живет и движется. И поэтому они, как и Перикл, могут в конце концов увидеть, как оно все есть на самом деле, а не как они про себя или про молодую девушку на палубе придумали, что она сама по себе, а по правде, она не отдельная девушка, а – твоя дочь.

И тогда все вокруг начинает меняться и оживать – лица людей, которые сто раз видел, и кирпичи, и змеи, и самосвал с заляпанным глиной задним протектором, и даже, скажем, собака по кличке Босый, что тусуется у магазина в ожидании



своей сосиски от случайного доброхота. Все они становятся такими, что те, кем они были только что, вдруг оказываются просто бледными призраками по сравнению с тем, кем они стали сейчас от музыки, а ты думаешь, да как же такое могло быть, что ты жил среди призраков выцветшего и скучного мира и мог не только называть это своей жизнью, но еще и радоваться с ней и даже говорить всякие ффривольности женщинам и похохатывать. Как, Господи, я не сошел с ума среди этого пыльного сада в этой запыленной и тусклой жизни, где ни пение кузнечика, ни даже крики шакалов в ущелье меня не могли ни согреть, ни поднять в воздух от счастья. А сейчас вот мы идем все по воздуху, как по сияющему асфальту, и так и должно быть, потому что если не ходить по воздуху, как по асфальту, то кому такая жизнь нужна вообще.

Тут дело в том, чтобы не просто жить или разговаривать, а в том, чтобы услышать музыку даже там, где вокруг тебя ее больше никто не слышит и говорит матерные слова, когда пытаешься ему объяснить, что с тобой происходит, а он ничего не слышит и продолжает говорить матерные слова. Периклу никто не говорил матерных слов, потому что боялись, что он царь, а так бы непременно сказали. Вот и не надо ему ничего объяснять, ему, может, твоя музыка ни к чему, а тебе она дороже жизни, и не на словах, а на самом деле. Тебе она дочь и мать. Не надо этим чудакам ничего говорить вообще. А если уж есть большая охота, то можно поговорить со стеной дома, или со старым цементным бассейном, или даже с

каким-нибудь ангелом – в общем, с любым, кто эту музыку слышит, такие всегда есть на свете.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.